

Б И Б Л И О Т Е К А

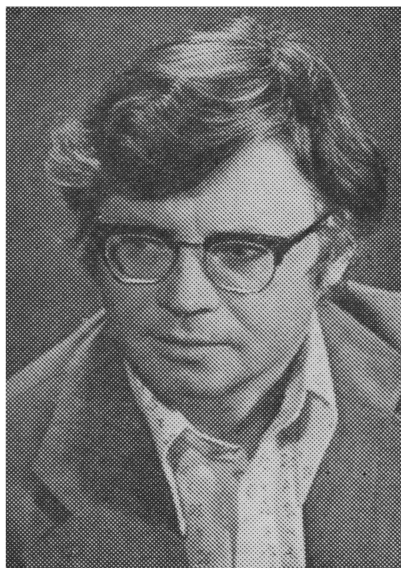
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 23

1981



Олег МИХАЙЛОВ

МАЛЕНЬКАЯ НАТАША

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 23

Олег МИХАЙЛОВ

МАЛЕНЬКАЯ НАТАША

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1981

Олег МИХАЙЛОВ

Олег Николаевич Михайлов родился в 1933 году в Москве, учился в Курском суворовском военном училище и 1-й Московской спецшколе Военно-Воздушных Сил. В 1950 году поступил на филологический факультет Московского университета. После его окончания работал в редакциях журналов, в Институте мировой литературы имени Горького. Кандидат филологических наук.

Печатается с 1954 года: сперва — как критик (книги «Герой жизни — герой литературы», «Верность», «Строгий талант. Иван Бунин», «Юрий Бондарев», «Куприн» и др.), затем выступает в жанре исторической романистики — «Суворов», «Державин». В последние годы обращается к «чистой» художественной прозе — роман «Час разлуки», повести и рассказы.

МАЛЕНЬКАЯ НАТАША

Она мала ростом, очень кругла лицом, полногруда, широкоплеча, но не толста. В улыбке, открывающей мелкие зубки, носик ее становится еще острее и еще округлее — подбородок. Работает она в административно-хозяйственном отделе какого-то управления с зарплатой семьдесят рублей, числится садовником, но выполняет обязанности курьера: бумаг год от года становится все больше, и штатные курьеры с ними не справляются.

Живет она за городом, тратит на дорогу в один конец полтора часа, занимает с мамой, больной сахарным диабетом, предпенсионной, одинокой, полдомика, выстроенного трудным, честным путем. Раньше я удивлялся, как на скромные доходы железнодорожной служащей можно было отстроиться, но когда увидел их жилище, все понял. По пестроте материала — кирпич, фанера, доски, жость, — по четкости границ пристроек видно было, как возникла сперва одна комнатка, как к ней затем, по прошествии почтенного времени, присоединили другую, поменьше, как, наконец, утеплили и обратили в кухоньку коридорчик.

Домик ее имеет трехзначный номер и стоит на бесконечной улице, протянувшейся вдоль железнодорожного полотна чуть не до самой Москвы. Зимой и летом, днем и ночью идут мимо составы: идут товарняки, электрички, поезда дальнего следования. Она уже не замечает их, их грохота, не просыпается от тепловозных свистков, а вот тиканье ходиков ее раздражает, и, когда мама в ночной смене, она идет в ее комнату и останавливает маятник. Если на дворе мороз, подтапливает дровами круглую печку, долго, остекленевшим взглядом смотрит на пламя, отсутствуя душой — словно засыпает с открытыми глазами. Потом, спохватившись, что уже поздно, спешит к себе, на узкую, переделанную из топчана тахту, над которой висит нарисованное ею цветными карандашами изображение киноактера Олега Видова.

На работу опаздывает регулярно, и не из-за нерадивости, а по простодушию и рассеянности: то пропуск дома забудет, то кошелек в электричке потеряет, а то, замечтавшись, проедет троллейбусную остановку. Давно бы рассчитали, да выручает начальница Серафима

Прокофьевна. Начальница командует десятком быстроногих девушек, которых рассылает во все концы Москвы, а сама отекшая, дышит часто, ходит с костылем. Конечно, отругает, пухлым кулаком по столу постучит: «Наталья! Чтoб в последний раз! Ты меня знаешь!» — но тем все и кончится.

Все нехитрые тайны подчиненных Серафиме Прокофьевне хорошо известны, с ней они обязательно знакомят своих ребят, а если что-то меняется, предупреждают ее, на чьи звонки подзывать к телефону, а от каких будут прятаться. Она всеобщая мать или, лучше сказать, бабушка. Наташу же выделяет и жалеет особо: без отца, росла в детдоме, мать — инвалидка...

Вечерами Наташа ходит в драмкружок, где второй год репетируют пьесу о гражданской войне и где она увлеченно играет красного связного — мальчика Васю. Или навещает московских подруг, чаще всего Нину, которая работает на «Мосфильме» ассистентом режиссера и показала ей однажды у проходной актера Видова.

Нина эта — во всем противоположность Наташе. Высокая, худая, с постоянной, хотя и несколько вымученной улыбкой на подвижном, с ранними морщинками лице. Имеет на улице маршала Бирюзова однокомнатную квартиру после раздела жилплощади с мужем, встает поздно, целый день принимает гостей, которые приносят выпивку и еду, бренчат на разбитом пианино, поют под гитару песни Ножкина и Высоцкого, заводят на кассетнике ансамбль «Бони М», много курят, еще больше острят и так же неожиданно, как приехали, исчезают...

Для Наташи Нина загадочна, как и ее квартира, где одна стена, отделяющая коридор от комнаты, разобрана вовсе, а другая сложена заново из красного кирпича, с нарочито оставленными просветами, точно бойницами в баррикаде. Придя в первый раз, Наташа подумала, что это декорация для фильма, который собираются снимать в Нининой квартире. Загадочны и ее посетители. Все разные, но чем-то неуловимым для Наташи схожие друг с другом. Может, своей таинственной принадлежностью к кинематографу?

Вот в квартиру не вошел, а вбежал, ворвался Черномором маленький, верткий бородач в темно-дымчатых очках, в перчаточной коже, джинсах, заполнив пространство криком, суетой, затопив комнату Ниагарой слов:

— Ста-руш-ка! Ба-буль-ка! Ба-бу-шен-ция! Как страшно я провел все это последнее время! Пятнадцать бутылок коньяка в три дня! Микроинфаркт! Отдельная палата! Капельница! И — водородный взрыв! Ночами два академика дежурили у моей постели! Я заставил их пить со мной Перно! На пятый этаж по пожарной лестнице ко мне приходила кинозвезда! Русская Милен Демонжо! Ты еще услышишь о ней, и очень скоро, ста-руш-ка!..

Его гибкая фигура возникала в разных углах большой полупустой комнаты, но на Наташу, которая следила за ним со страхом

и надеждой, он обращал не больше внимания, чем на стенку из кирпича.

— Я почти убил его, ста-руш-ка! Я страшно его избил! Кровь хлестала по прекрасной ватной груди его шинели! Он был красавец, вдвое, ровно вдвое выше меня! С торсом атлета...

Бородач снял очки, и Наташа в волнении обнаружила, что у него вовсе нет глаз. То есть на заросшем волосами лице, как у Адриана Евтихьева из учебника биологии, были условно обозначены две куринные точки.

Наташе стало так жутко, что она зажмурилась.

— Всю жизнь борись со злом! — гремело в комнате. — Я сею вокруг только добро! Отвечаю на зло добром! Я самый нежный человек на земле! У меня в квартире живут четыре бездомных собаки и молодой художник, работающий дворником. Я раздаю деньги! Я жалею людей! И вот почему я гений, почему гениально все, что я делаю!..

Наташа медленно открыла глаза. В квартире было тихо, пустынно и даже как бы темно. Словно влетела в окно шаровая молния, ослепила, покружилась, покувыркалась да и вырвалась неведомо куда и за чем.

— Кто это? — благоговей, спросила она.

— Режиссер, — закулив крепкую сигарету, кишиневский «Марльборо», объяснила Нина. — Необыкновенно одаренный... Поэтому публика не понимает его фильмов, неспособна постигнуть его исканий...

— Как бы я хотела познакомиться с интересным человеком... Как он, как Видов, — краснея, призналась Наташа.

— Ты? — Нина смерила ее ироническим взглядом. — Это невозможно. Да для этого ты сама должна быть богатой натурой — ярким собеседником, знатоком музыки, живописи, поэзии... А о чем ты можешь с ними говорить?

Наташа сморщила лицо, словно собиралась заплакать, улыбнулась и пожала плечами.

— Вот то-то. И потом — сколько ты сейчас стоишь? Вся. Не больше полстольника...

— Как это? — еще раз улыбнулась Наташа, открыв острые зубки.

— В смысле — пятидесяти рублей... Туфли — двадцатка, платье шила сама — пятнадцать, прибавь еще белье, колготки — и полстольника не наберешь. Сказать, что тебе совершенно необходимо для начала?

Наташа вся подалась вперед.

— Тебе нужны джинсы. Фирма. Не наши, конечно, а с хорошим лейблом. Знаешь, какие фирмы модно носить?

С того часа и появилась у Наташи мечта.

— Да что же в них такого особенного? — даже засмеялась Серафима Прокофьевна.

Начальница пила чай вприкуску, ухитряясь где-то доставать настоящий пиленый сахар — крупные, сероватые, неровные и очень сладкие кубики, которые она обгрызала боковыми, здоровыми зубами.

— Как вы не понимаете? — Наташа вскочила со стула, оказавшись вровень с сидящей Серафимой Прокофьевной. — Это подлинный коттон. Особая нитка! Крашенная натуральным индиго!

Она уже знала, видела и перетрогала все джинсы, разных расцветок — от нежно-голубой до чернильно-фиолетовой, могла бы перечислить все «лейблы», все наименования на кожаных или синтетических ярлыках. Она уже по нитке умела определить фирмы «Ли», «Врангель», «Левис», японскую перепечатку «Доллар» («Дубовый материал», — с похвалой отзывались знатоки, особенно о первом «Долларе»). Ниже ценились перепечатки английские, канадские, итальянские и уж совсем с малой наценкой шли индийские, югославские, болгарские «Рила», польские «Одра» и «Шарик», венгерская «Комла», не говоря о наших — «Спорте» и «Ну, погоди!». Правда, существовала еще «Олимпиада», с кисточками сзади, московской фабрики. Это был признанный класс. Но в магазинах их достать было совершенно невозможно, а переплачивать вчетверо не имело смысла. Уж лучше фирма...

— А сколько они стоят? — поинтересовалась начальница.

— Все зависит от того, какие, — взволнованно ответила Наташа.

— Ну, эти... Самые качественные...

Наташа сокрушенно махнула маленькой ручкой:

— «Ли» или «Левис» — двести рублей...

— Сколько?

Серафима Прокофьевна засмеялась снова, теперь уж надолго. Она смеялась вся, мелко и часто — смеялось ее доброе лицо, ее щеки, похожие на два небольших живота, ее стекающие под мышки груди, ее пухлые натруженные руки, где на правой дрожало обручальное кольцо, которое на сантиметрросло в палец. Утерев слезы, она наконец смогла сказать:

— Двести рублей! Три твоих зарплаты! И это за какие-то, прости господи, портки! — Но, поглядев на Наташу, со вздохами добавила: — Я, конечно, старая, ничего в этом не смыслю... Думай сама...

И Наташа думала. Во-первых, отказалась от обедов, заменив их сперва кофе с булочкой: стакан кофе двадцать две копейки, калорийная булочка десять, а потом заменив кофе чаем, — стакан чая с сахаром всего три копейки. Во-вторых, выиграла в черную кассу. В-третьих, продала за сорок рублей свою единственную фирменную вещь — ярко-желтый батник, который, как утверждали все, необыкновенно ей шел. Начала было сдавать кровь, да при таких харчах

пришлось скоро отказаться: стала кружиться голова, пришла в ноги дрожь, подкатывалась тошнота...

И все же ко дню своего рождения она собрала сто пятьдесят рублей. На большее не хватило.

Родилась Наташа в июле, под знаком зодиака Рак, что означало, если верить польскому журналу мод «Урода», исключительную загадочность и тонкость натуры, легкую ранимость и глубокую богатую потаенную внутреннюю жизнь. словно в подражание своему гороскопу, Наташа и была в этот день задумчива, печальна, погружена в себя. В честь рождения она принесла «гранату» — бутылку портвейна «Ркацители» за один рубль сорок семь копеек. Когда же после конца рабочего дня портвейн был коллективно выпит, Серафима Прокофьевна сказала ей:

— Это тебе... От всех нас... — И грубовато добавила: — На твои портки...

— Что вы, что вы, Серафима Прокофьевна! — испугалась Наташа, увидев девять трешниц и один четвертной билет, взяла деньги и заплакала.

Теперь Нина была совершенно необходима, но дозволилась ей Наташа лишь через долгих три дня.

— Ну вот и прекрасно! — обрадовалась та за свою подругу. — Я сегодня же заеду к тебе с тем режиссером... Помнишь, такой симпатичный, в темных очках?..

В канцелярии режиссер держался не в пример скромнее, тише. Только оббегал соседние комнаты и внимательно оглядел робевших девушек, раскритиковав у одной лак для ногтей.

— Значит, так! — торжественно возвестила Нина, когда деньги были еще раз пересчитаны. — Пойдешь в женский дабл на углу Неглинной и Кузнецкого моста...

— Как это? — удивилась Наташа, показав зубки. — Куда?

— Есть такое маленькое подземное заведение, — с удовольствием вмещался режиссер. — Завсегдатаи называют его «Снежинка»... Там можно купить все. От прессованной американской пудры до «Фольксвагена»...

Когда они с Ниной ушли, Наташа спросила свою начальницу, понравился ли ей режиссер.

— Этот волосатик? — возмутилась Серафима Прокофьевна. — Да чистый пустогай... Глазами вокруг так и зыркает, так и зыркает. Всех облизал. Обезьяна...

В ответ Наташа поджала свой маленький ротик, завела глазки, как бы прикидывая что-то, и убежденно сказала:

— Нет, он не самец!

В ночь с пятницы на субботу она долго не могла уснуть. Все ворочалась, чувствовала то жар, то озноб, поднималась и проверяла, на месте ли деньги. А когда забылась, начали преследовать ее кошмары. В черное оконце, выходящее в крошечный палисадник, кто-то заглядывал, и она догадывалась: режиссер.

Он прислонялся к стеклу, снимал очки — становился безглазым, снимал бороду и бакенбарды — делался безротым, снимал волосы — оказывался безголовым, стаскивал кожаную мягкую куртку, и оставались одни джинсы, которые легко пролезали через фортку в комнату. Под звуки «Бони М» джинсы приплясывали, выкидывали колени, приседали, вихлялись, тряслись, а затем, словно поддразнивая, удалялись к входной двери. И тогда Наташа начинала понимать, что ее обокрали. «Отдайте! Это мои джинсы! Мои! Зачем вы их надели!» — кричала она и просыпалась. Но забывалась — все повторялось сызнова. Напрасно Наташа переворачивала подушку, напрасно шептала заклинание, которому научила покойная бабушка: «На море, на Кияне, на острове Буяне, там стоят двенадцать дубов, у каждого дуба двенадцать корней: под этими корнями лежит чужинная доска, под той доской лежит моя тоска...» Режиссер появлялся снова и снова — до самого света...

Похудевшая, уставшая от переживаний, Наташа долго стояла, обтекаемая праздной московской толпой, спешившей в ЦУМ, в Петровский пассаж, в магазины Кузнецкого моста, и с другой стороны улицы разглядывала «Снежинку». Все казалось будничным, как на вокзале. Обычные женщины спускались и довольно быстро выходили, растворяясь в людском потоке. «Может, Нина и ее режиссер просто разыграли меня? Взяли на пушку?» — подумала она, набралась храбрости, перешла Неглинную и решительно направилась в «дабл».

...Было тесно, да так, как в воскресный вечер у них в Тайнинке, на танцверанде. Только тут могли танцевать лишь «голубой» танец — «шер» с «машер». От духоты, жара, спертости Наташе все это стало казаться продолжением сна, из которого надо было выскочить, очнуться. Но вот постепенно она стала ощущать жужжание приглушенных голосов:

— Фирменные пакеты... Отдам за файфок...

— Кому кенгуру? По дешевке... Кенгуру...

Выделялся резкий, с хрипотцой и почти детский голосок:

— Клевые блуевые трузера с двумя кокетами на боксайте...

Дама в годах, странно благоухая з д е с ь духами «Клема», тронула Наташу за плечо, выводя из летаргии:

— Есть безразмерные фирменные лифчики... Франция...

— Мне нужны джинсы! Только хорошие! — громко сказала Наташа и тотчас увидела перед собой такую же, как она, маленькую

белокурую девушку — очень хорошенькую, с мутными голубыми глазами и мокрым ртом.

— «Врангель»... Как раз твой размер... Ненадеванные...— Наташа узнала ее голос: это она предлагала «клевые трузера».

Не веря удаче, Наташа держала густо-синие джинсы с благородным «лейблом», фирменными швами и натуральной ниткой коттон. Просто из желания продлить удовольствие она спросила:

— За сто пятьдесят отдашь?

— Не бомби фирму,— равнодушно ответила блондинка, забирая джинсы.— И пристегни еще полкуса. Дорого — носи русские, с кисточкой...

Пробиться к кабинке, чтобы примерить, не было никакой мочи. Наташа просто прикинула размер: все подходило как нельзя лучше.

— Гляди, какой зип ломовой! — Блондинка несколько раз раскрыла и закрыла нарочито грубую металлическую «молнию». — Ну что, берешь? А то у меня времени нет тут тухнуть...

Наташа в волнении отсчитала двести рублей.

— Завернем, чтобы не схлопотать наверху.— Девушка ловко упаковала джинсы в бумагу с гумовским клеймом.— Поздравляю с покупкой. Держи кость! — И протянула руку.

Когда счастливая Наташа выбиралась из толпы, блондинка оказалась рядом:

— Выйдем вместе...

На углу Кузнецкого моста к ним подошел парень в джинсовом костюме, с негритянски худой фигурой и большим, похожим на Южную Америку родимым пятном на левой щеке.

— Мой мэн,— представила его блондинка.— А я «Врангеля» ей отдала. За два куса.

— Кто тебе разрешил? Ба-ра-ни-на! — прошипел мэн.— А ну, верни ей бабки!

— Слушай! Ты меня совсем замучил,— ответила блондинка, но, к Наташиному ужасу, вынула ей двести рублей.

— Я вас умоляю! Не надо! — прошептала она, беря деньги и отдавая пакет.— Мне они очень нужны. Очень!

— Пожалей герла,— хрипловатым баском поддержала ее блондинка.— Что ты нас утужишь!

Парень заколебался, почесал Южную Америку, прикинул что-то.

— Ну, ее счастье! Бери назад!

— Спасибо! Спасибо! — Наташа готова была расцеловать его, несмотря на страшную щеку.

Она долго еще смотрела, как девушка и ее мэн идут вверх по Кузнецкому мосту. Затем, распираемая радостью, побежала к метро. В дороге до вокзала и в ожидании электрички она все представляла себе, как придет в воскресенье к Нине, как повернется в ее комнате на одной ноге, как скажет:

— Ну как? Идут? Класс!

В электричке она развернула пакет с гумовскими этикетками. Это были тоже синие, но наши джинсы за двенадцать рублей пятьдесят копеек. С клеенчатой наклейкой «Ну, погоди!»...

В светлом школьном спортзале одна за другой появляются девушки в белых свободных куртках и коротких брюках, с наклеенными на груди иероглифами. Они кланяются немолодому мордастому учителю и выстраиваются в шеренгу. Сэнсэй быстро говорит им что-то по-японски, резко делая отмашку правой рукой. Девушки быстро встают на колени и с возгласом «Ра!» опираются на костяшки кулаков — кинтасы. Сидя на корточках, они выслушивают очередное задание.

Большинство ходит сюда, чтобы похудеть. Кое-кто — от скуки. Но у Натальи своя, священная цель. Нет, она не желает достигнуть пятого дана, носить черный пояс. Ей только нужно отомстить ему, тому, худому, с Южной Америкой на левой щеке. Старушка уборщица в женском туалете — в том самом «дабле» — рассказывала ей, что часто видит эту блондинку, а наверху ее всегда встречает тот парень. Наташа будет ходить сюда, пока фаланги ее пальцев не приобретут твердость копыта у мула.

— Ра! — кричит она громче остальных по знаку сэнсэя и встает на кинтасы.

ОСОБНЯК С ФОНАРИКАМИ

Из давнего детства, почти небытия, вспоминаю.

Милая моему сердцу Васильевская улица, еще сплошь заставленная двухэтажными бревенчатыми, реже — кирпичными домами. Палисадники с сиренью и цветами «табак». Дворы с голубятнями. Булыжная мостовая, уходящая далеко, к воротам Тишинского колхозного рынка.

Там крашенные зеленой краской ряды ломаются от парного мяса, битой и живой птицы, крупной и чистой картошки, яблок, меда, солений. Там черные радиорупоры исходят женским криком: «Розы белые упали со стола, я надену свой бордовый сарафан, я ударница колхозного труда!..» Там шум, гам, перебранка. В самом веселом ряду торгуют фанерными, дергающимися на нитках человечками с бала-лайкой, ярко расписанными матрешками, восковыми лебедями, надувающимися пузырями «уйди-уйди!», стеклянными, писающими водой чертенятами, пищалками, дудками, леденцовыми петухами.

А здесь, на Васильевской, — тишина. Сидят на скамейках у калиток старухи — разбухшие или ссохшиеся — и провожают

редкого прохожего добрыми, бесцветными от больших слез глазами. И красуется в середине улицы старый барский особняк с пустым геральдическим щитом — ампир середины умершего века.

Перед особняком — четыре фонарика на столбах.

Мы — я и Зина — по тайному сговору одновременно вырываемся из рук наших мам, которые замирают от ужаса (а вдруг, не дай бог, грузовик!), и мчимся наперегонки. Кто скорее добежит до первого фонарика? Зина постарше, выше ростом, ее длинные ладные ноги в белых гольфах уже мелькают впереди — я опять проиграл.

Нет уже этих фонариков, перестроен и дом, потерявший свой фасад и ставший частью гигантской остекленной мышеловки. И мы с Зиной уже не те, совсем не те. Но, встречаясь, случайно сталкиваясь с ней, когда она спешит на репетицию или на спектакль в Государственный академический Большой театр, я вижу ее не теперешней. Нет, не сорокалетней, узкоплечей, с длинной жилистой шеей и выпирающими ключицами, в платье, жалко, самодельно повторяющем фасон модного журнала «Вог» — с голой спиной, немислимыми оборками и огромным искусственным цветком на груди. Я вижу ангелоподобную пятилетнюю девочку с двумя русыми косичками. В матроске и белых гольфах. Быстрою, голенастую, беззаботную.

Через полтора часа она выйдет на сказочно освещенную электриками сцену в ином наряде — каком-нибудь белом, пенном от кружев платье, расшитом поддельным жемчугом, в рыжем шиньоне и, обмахиваясь страусовым веером, будет с искусственной медленностью ходить взад и вперед в глубине, среди таких же бутафорски богато разряженных дам и господ, в то время как на авансцене, в тончайшем согласии с волшебными узорами музыки, закружится, то разлетаясь, то соединяясь, сплетаясь, знаменитая пара. И сотни людей в зале и сотни тысяч — у телевизоров будут следить за каждым движением этих воздушно порхающих танцоров, воспринимая дальнюю толпу и Зину с веером как часть искусно расписанных декораций, как продолжение фанерного замка и нарисованных гор на заднике.

После спектакля Зина первая успеет снять наряд фрейлины, смыть грим и побежать к выходу, сказав артисткам:

— Я домой! Запретила Грише приезжать за мной на мотоцикле... Он такой отчаянный!..

Ее худая, нескладная фигура мелькает в вечерней московской толпе, исчезает в освещенной норе метрополитена, чтобы появиться на Васильевской, новой, уже перестроенной. Скорее, скорее к себе в квартирку, на третий этаж старого огромного дома, когда-то единственного на всю округу девятиэтажного. Скорее домой!

Она была старше меня на полгода, но взрослее — на несколько лет. В эвакуации, в далеком Далматове, приказала однажды:

— Проследи, с какой девочкой дружит этот мальчик!

Мальчик, надменный, изящный ленинградец с капризным ртом,

казался мне существом совсем взрослым, загадочным. Я с бессмысленной добросовестностью шпионил за ним, пока не указал Зине на белобрысую пятиклассницу, дочь местного военкома.

И Зина подстерегла ее с пучком крапивы и натолкала ей крапивы под платье.

Вспоминает ли она Далматова? Старый, видевший пугачевцев монастырь над Исетью, котлеты из конины, лепешки из картофельной шелухи, волка, похожего на большую побитую собаку с опущенной мордой и хвостом, которого мы встретили с ней на лесной опушке? Вряд ли.

Все ее помыслы о Грише, только о нем.

Зину встречает кастрированный кот, толстый и ленивый. Она быстро проходит в кухню, готовит ужин и завтрак, а затем долго стирает мужское белье — на машину все не хватает денег — и развешивает его в кухне, ванной и даже коридоре. Устав, намаявшись, валится на тахту с книжкой — она читает все подряд: роман венесуэльского модерниста, румяный отечественный детектив, интервью со знаменитым негритянским трубачом и сухую, дерущую горло статью из последнего номера журнала «Вопросы литературы», который зачем-то выписывает, несмотря на скудный бюджет.

Утром к ней забегают подруги или — чаще — просто соседки по дому. Кому позарез нужно два билета в Большой — хоть на самый верхний ярус, кто по старой памяти интересуется, не будет ли массовки на «Мосфильме», а кто приходит так, от нечего делать. И каждую гостью Зина встречает с преувеличенной радостью, тащит в кухню, кормит тушенными по-грузински баклажанами или рыбой в томате, — и все для того, чтобы пожаловаться, излить душу. Показывая на развешенные рубашки, кальсоны, майки, с театральной томностью говорит:

— Это становится невозможным! Требовательность Гриши растет день ото дня! Белье недостаточно чистое, еда слишком острая... И потом, — она доверительно наклоняется к гостье, — он так темпераментен... Я ужасно устаю...

А проводив соседку, идет опять к тахте, к книгам, к венесуэльскому модернисту.

Ее жизнь связана с Большим театром, со сценой, с музыкой, которой то громово, то нежно дышит оркестровая яма. Но музыкальна ли Зина? Нисколько. На домашних детских вечерах, которые любила устраивать моя мама, Зина даже не пела, а только открывала и закрывала рот, тогда как мы, остальные, старались во всю полноту своих легких:

Ходят волны кругом вот такие,
Вот такие большие, как дом!

Мы бесстрашные волки морские,
Смело в бурное море плывем!

Я хорошо представлял себе, что такое морские львы. В Уголке Дурова меня поразили ловко плавающие, гладкие черные звери, которые подбрасывали усами мордами большой цветной мяч. Морских волков я видел такими же, только размером помельче, и если бы мне сказали тогда, что это пираты, я бы только разочаровался.

Я пел, вдохновенно ощущая себя морским львом — живой черной торпедой, несущейся в воде:

Поплывем мы в далекие страны,
Где блестящие звезды видны,
Где на ветках висят обезьяны
И гуляют большие слоны...

Вообще если я был заводилой и фантазером, то Зина — практиком, воплощавшим мои фантазии в действие. Во дворе, в нашем прекрасном дворе большого дома, мы разыгрывали с ней сказочные путешествия, готовились бежать на остров Святой Елены, чтобы раскопать могилу Наполеона и добыть его оружие. Идею предложил я, но как осуществить ее? Все наши маршруты были ограничены двумя садиками с фонтанами и роскошными цветочными клумбами, спортивной площадкой для взрослых — с перекладиной, кольцами и настоящим теннисным кортом. Но по аллеям садов крейсировал строгий комендант, бывший царский генерал, как мы почему-то считали, а на площадке до темноты упражнялись верзилы в трусах до колен. В нашем распоряжении оставался только задний двор, где под навесом покоились тяжелые, тускло блестящие глыбы антрацита, предназначенного для котельной.

Там, на каменной лесенке, ведущей к забитой двери, я и воображал себя капитаном корабля, который держит курс на Святую Елену.

Команду набирала Зина, зачисляя в матросы всех сверстников, включая и слабоумного Юру Пурвина. Большеголовый, с навсегда застывшим радостно удивленным выражением на лице, очень добрый, Юра, с сухим — как козье блеяние — смехом, исполнял любой приказ. Зина поступала жестоко, обычно отправляя его на разведку местности, иными словами, заставляя лезть на кучу угля. Игра завершалась появлением Юриной мамы, которая под рев разведчика уводила его смывать антрацитовую пыль.

Талант администратора, проявившийся в детстве, Зина сохранила и приумножила. В свободные от театра дни она часами не расстаётся с телефонной трубкой. Договариваясь с кем-то, уже листает толстую алфавитную тетрадь, ища следующего клиента:

— Нужны мужчины для «Бориса Годунова»... Фильм-спектакль...

Три рубля за съемочный день... Сбор перед Киевским вокзалом, у часов...

— Только девочек приводите, девочек... Не старше пятого класса... Да, студия Горького... Встречаемся у метро «ВДНХ», рядом с автоматами газированной воды...

— Приезжает «Ла Скала»... На той неделе начинаются репетиции... Статисты требуются молодые... Получат пропуска в Большой театр...

Нет, не бескорыстная любовь к искусству движет ею. Она точно знает, кого и куда призывать. И обожатели бельканто, которые смогут много дней подряд видеть и слышать маленького пузатого человечка, от бровей заросшего жестким черным волосом и знаменитого на весь мир своим феноменальным «до», с готовностью приплатят ей за это счастье.

Жесткость, напористость жили уже в ней, пятилетней. И когда я нашел двугривенный — целое состояние! — Зина приказала, чтобы кто-то из нас, я или Юра Пурвин, нарушив строжайший запрет родителей, перебежал через Большую Грузинскую улицу, туда, где под щитом кинотеатра «Смена» стояли мороженщицы и лоточницы с конфетами.

Весна, острый апрельский воздух, первая пыль на мостовой. И звон, и гудки, и белый шлем милиционера, машущего посреди улицы жезлом. У ворот мы все трое с остервенением жуем еще горячий вар, который плавился в железной бочке на заднем дворе. Зина подбрасывает монетку. Я, потев от страха, говорю:

— Орел...

Юра радостно кричит:

— Решка!

Конечно, отправляется бедный Пурвин! На мгновение мы с Зиной теряем его из виду, когда мимо с громом проносится краснобокий трамвай. Долгая минута, и вот запыхавшийся Юра стоит рядом с нами. В руке у него ребристый новенький карандаш.

Я разглядываю матовые лиловые грани и, выплюнув вар на ладошку, медленно читаю давленную золоченую надпись: «Пионер... Сакко и Ван-цет-ти... 1938 год...».

Подражая кому-то из взрослых, я говорю:

— Подумать только, уже тридцать восьмой год!

На нашем девятиэтажном доме, по полукруглому фасаду, укрепили огромного Ворошилова на коричневой лошади, комендант руководил развешиванием красных флагов. Утром Первого мая нас, ребятишек, собрали в клубе домоуправления. Зина в новеньком пестром платье и я в зеленом френчике уселись на первом ряду. Военный политработник рассказывал, как плохо живется детям в странах капитала:

— Для них кусочек сахара — огромная радость...

— Кусочек сахара! — удивляюсь я и толкаю Зину.

Я даже слегка не верю этому политработнику, так как сахара у нас — колотого, пиленого, песку — никто не считает. Я не могу помнить голодные годы, когда ввели карточки, а теперь так избалован, что и конфеты для меня не подарок, не говоря уже об одежде. Подарки, по моему понятию, могут быть только игрушки: тяжелый заводной танк, солдатики, каска и сабля, педальный автомобиль...

Затем мы смотрим фильм о девочке, голодной и несчастной, которая случайно перешла нашу западную границу, была обогрета, накормлена и обласкана, а потом возвращена на ту, капиталистическую сторону. Девочку мне жалко до слез.

Из темноты кинозала мы возвращаемся в майский день. И свежий ветерок с солнцем, праздничная радиомузыка, движение, смех, шутки взрослых живо поднимают мое настроение.

После демонстрации Зинины родители приглашают нас к себе. Квартира у них блестит и своей чистотой так отличается от нашей, безалаберной и захламленной. Тут в ванной комнате на полочке лежит цветное душистое мыло — в форме рыбки, зайца или слоника. Тут посреди Зининой комнаты стоит метровой высоты дом с зеленой крышей, с отворяющейся дверью и окнами из слюды. Если включить электричество — зажигаются маленькие лампочки в четырех комнатах. А когда поднимешь зеленую крышу, увидишь, как искусно меблирован дом, какие там кровати, буфет, кухня с тарелочками и кастрюлями. Его построил сам Зинин отец.

Этот дом и сейчас в ее квартире. Но как потускнело, постарело и сжалось все — и детский карликовый дом и обстановка: письменный стол, тахта, кресло, в котором сидит Зина против соседки-полковницы, добродушной рыхлой дамы неопределенного возраста, и, мучаясь мигренью, умоляет:

— Ну, в последний раз! Римма, милая, в последний!

— Ладно, ладно! — проклиная свою бесхарактерность, соглашается наконец Римма.

Ей торжественно вручается крупная южная луковица, небольшой шмат сала и искусно запечатанная в домашних условиях чекушка с перчиком. В чекушке-то вся хитрость. Горилка заговорена ворожеей, к которой, далеко за город, ездила Зина накануне.

Римма честит себя на чем свет стоит — и в лифте, и в троллейбусе, и у небольшого домика в Скатертном переулке, где она долго стоит, не решаясь войти. Потом, как на казнь, подымается деревянной лесенкой, идет узким, пахнущим кошками коридором и стучит в последнюю дверь. И почти точно высовывается крупный телом носатый малый со слегка выпученными глазами.

— А... Опять ко мне причесала?... — с наигранной, добродушно-

оскорбительной интонацией говорит он, громко, в расчете на любопытство соседей. — Вишь, как втюрилась!.. Ну, проходи, проходи... — и пропускает ее в тесную и полутемную комнатенку.

Полковница, не снимая пальто, не садясь, раскладывает на холодильнике известные нам предметы и лепечет:

— Вот мне с Украины гостинцев прислали... Я-то сама не пью, так решила с тобой поделиться...

Гриша хохочет, обнаруживая избыток здоровья:

— Опять эта дура тебя намылила! Вот ведь!..

И он сочно и необходимо ругается.

Могу заверить, что Гриша — человек незлой, компанейский и не дурак выпить. У него такое устройство раковин крупного носа, при котором почти непременно бывает гайморит. (Я это проверял на десятках знакомых и всегда угадывал.) От этого Гриша немного гнусавит. Но пустяковое хроническое воспаление носовой полости не мешает ему быть очень спортивным: в Институте инженеров транспорта — регби, позже — самбо, а теперь — мотоцикл. От Гриши всегда слегка пахнет бензином и машинным маслом: почти каждый день его «Ява» чистится, смазывается, отлаживается.

Если существует юмор ученых (есть даже такая рубрика в одном журнале), то Гриша воплощает в себе юмориста-технаря, набитого анекдотами, остротами, хохмами. Работа не мешает ему участвовать — и очень активно — в веселом ансамбле Дома журналиста «Верстка и правка».

Где и как он познакомился с Зиной, не знаю. Но однажды, когда я посетил ее по просьбе сестры, мечтавшей подработать на ночных киносъемках, меня встретил Гриша. Он был в свободной пижаме — самоуверенный, сильный, благодушный. За Гришей я увидел небольшой холодильник, которого у Зины раньше не было, а уже за холодильником — саму Зину. Я едва узнал ее — такую радость, такой восторг источала она. Зина улыбалась с непривычным добродушием, разговаривала милостиво и спокойно-снисходительно.

С Гришей мы сошлись сразу, с первой же его ответной фразы:

— Да ты парень — молоток! В общем — железо, сталь и другие сплавы...

Он был всегда заведен на юмор — как со мной тогда, так и теперь — с Риммой.

Выпроваживая ее, пунцовую, по коридору, он говорит:

— Вопрос: что раньше исчезнет — противоречие между умственным и физическим трудом или между мужчиной и женщиной?

И добродушно и гулко хохочет.

Не помня себя от стыда, полковница убирается восвояси.

— Ну как? Удалось? Выпил? — бросается к ней Зина.

Римма молча выкладывает на кухонный столик луковицу, кусок сала, ставит чекучку.

Поздно за полночь Зина, похудевшая от слез, пишет письмо, которое отправит с уведомлением о вручении и оплаченным ответом:

«Дорогой товарищ Вольф Мессинг! Читала Ваши воспоминания, не раз с восхищением следила за Вашими выступлениями. Обращаюсь теперь к Вам за экстренной помощью, так как я оказалась в совершенно необычной ситуации. Очень надеюсь на Ваш талант и Ваши знания. Дело в том...»

Письмо получается длинным, переполненным доказательствами. Приводятся возможные варианты причины происшедшего. Дается подробная характеристика Грише. Не забываются его биография, увлечения, круг знакомых, домашний и служебный адреса, телефоны...

Недели через три, по возвращении письма нераспечатанным, с указанием: «Адресат был...» — Зина зовет меня к себе.

Я у нее, признаться, давно уже не вызываю интереса. Впрочем, нет, была очень короткая пора, когда Зина обратила на меня внимание: после восьмого класса я поступил в специальную школу Военно-Воздушных Сил. Летная фуражка с блестящим от асида латунным «крабом», серая офицерская шинель с курсантскими погонами, гимнастерка, специально по неписаной моде подрезанная понизу, расклешенные брюки — все это хоть и не могло придать не имевшейся от природы мужской неотразимости, но преобразило и выделило меня.

Зина же к той поре, учась классом старше, чем я, сделала матерым театральным «сыром» — завсегдаем премьер у вахтанговцев на Арбате и в Театре киноактера на Воровского. Когда не имелось пропуска или денег на билет, она дожидалась первого антракта и проникала в зал с вышедшими покурить на свежий воздух. А денег теперь не доставало: вскоре после войны отец оставил семью. Матери, разбухшей от лежания и чтения романов, пришлось все перестраивать, резко менять стиль жизни. И поразительно, как быстро эта сонная, вялая женщина, без профессии, без образования, приспособилась к новым условиям.

Нужно ли снять квартиру для тороватых гостей с Кавказа, отыскать комнату на месяц одинокому иногороднему аспиранту или предоставить желанный ночлег загулявшему работнику торговой сети, устроиться приезжему из Магадана в гостинице, добыть мурманчанину билеты на заморскую знаменитость, — Зинина мама тут как тут. А вскоре она проникла и на киностудии, стала собирать военных-пенсионеров, скучавших от безделья, и формировать из них съемочные отряды. И бывшие полковники и майоры с готовностью изображали то ленивых, преющих на жаре бояр в длинных охабнях, то гневно протестующих демонстрантов из Латинской Америки, то ликующих колхозников. Зинина мама была закоперщиком, бригадиром, помрежем.

А дочка? Она легко проходила за кулисы, держала себя накоротке с молодыми звездами, и уже отставники видели ее на «Мосфильме»

под ручку с прошумевшим киноактером. Но то ли ей на время приелась актерская среда, то ли ее киноактер уехал на очередные съемки, только Зина, встретив меня во дворе, долго не отпускала, восхищалась моим мужественным видом и просила непременно зайти в гости.

— Мама скоро ложится на обследование сердца... Так что я буду скучать... И очень долго... — с томностью сказала она.

От невинности я был суров, категоричен, говорил резко и даже смеялся особенно — отрывисто и почти беззвучно, стесняясь своего смеха, самого себя. Это потом я изобрел смех добродушно-открытый, военный, хотя военным так и не стал...

Пообещав навестить Зину, я не собирался делать этого и только подумал: «Как вся изломалась! Какая стала кривляка!»

Я сторонился девушек, хотя в спецшколе почти у каждого уже была подруга, к которой будущий авиатор относился с подчеркнутым вниманием, даже рыцарством, а вот за глаза, еще по-мальчишески стыдясь женщин, мог с напускным цинизмом сказать о ней друзьям любую сальность и называл не иначе как «спецухой».

Попал я в спецшколу сразу на второй год обучения и считался новичком, носил унизительное прозвище «хазарин», то есть оказался существом второсортным, еще нуждающимся в том, чтобы доказать свое благородство. «Хазарам» чаще давали наряды, и всегда самые неприятные — подметает школьный двор, сторожить на физподготовке фуражки и шинели, пока остальные ученики играют в футбол около строящегося гигантского крытого стадиона ВВС.

По субботам «спецы» ходили с девушками к памятнику Пушкину, где их встречали воспитанники Артиллерийского подготовительного училища — МАПУ. Слово за слово завязывалась легкая перепалка.

— Вентиляторы! — задирался какой-нибудь краснощекий юноша в артиллерийской фуражке. — Не видать вам неба, как своих ушей! Быть вам на аэродроме мотористами!

И читал обидные самодельные вирши: Вечно пьяный, вечно сонный моторист авиационный.

— Ах ты, фитиль, коптилка! — огрызался, распаляясь, «спец». — Ответь лучше, с какой стороны пушку заряжают? С дула или казенника? Небось, не знаешь!.. Спроси у своей девушки...

Хотя в кодексе «спецов» самым почетным словом было «сачковать», то есть уклоняться от обязанностей, и за доблесть почитались разные мелкие нарушения, вроде ношения шинели по-офицерски, с отвернутыми лацканами, в их существе, в подлинной натуре жило нечто иное, романтическое: влечение к небу, к профессии летчика. И недаром из спецшкол вышли и знаменитые испытатели, и прославленные космонавты, и незаметные герои, охраняющие наше небо.

Заводилой среди спецшкольников, их жоаком, истоиво хранящим неписанные традиции, по праву считался Феликс Лодыжкин, учивший-

ся со мной в одном отделении. Почему Феликс? Конечно, в честь знаменитого руководителя ВЧК. Отец Феликса, заслуженный чекист-отставник, боготворил Дзержинского и имел браунинг, лично подаренный им, что удостоверялось надписью на рукоятке.

У Феликса и гимнастерка была обрезана короче, чем у остальных «спецов», и тулья фуражки была растянута шире, чем у всех в школе, и брюки — самые расклепанные. Он обожал танго «Брызги шампанского», ценил мастерство ударника Лаци Олаха, выступавшего в ресторане «Спорт», пользовался, хоть и не был красив, безусловным успехом у девушек и даже имел любимый персональный напиток, название которого звучало для меня романтически и загадочно: «Шерри-бренди». Ученый-педант мог бы определить его как тип классического «стиляги» конца сороковых годов. Только стилиги-интеллектуала.

Крепко сбитый, с несколько оплывшим лицом, толстоносый, с маленькими внимательными глазками, Феликс нес в себе множество счастливых задатков: имел первый разряд по шахматам, замечательно легко решал математические задачи, превосходно рисовал, увлекался романами Вертинского, любил читать и читал много. Хотя частенько не успевал в своей рассеянной жизни подготовить домашние задания.

На уроках литературы его выручал ловко подвешенный язык. Не останавливаясь, нанизывал он одну на другую гладкие и бессмысленные фразы:

— Тургенев с огромной художественной силой запечатлел социальные ужасы и язвы русской действительности той поры. В своих бессмертных романах, повестях, рассказах он показал необыкновенно яркую и сочную галерею передовых людей своего времени, гневно заклеймил дворянско-буржуазных эксплуататоров, воспел чистоту и мощь, нерастраченные силы родного народа — творца истории, на высокий нравственный пьедестал поставил русскую женщину...

Молодая — почти наша ровесница, — то и дело краснеющая выпускница пединститута, неловко носившая офицерскую форму, долго ставила Феликсу ровные пятерки, хотя то, что он говорил о Тургеневе, потом с небольшими вариациями повторялось о Некрасове, Льве Толстом, Чехове. Она заворожено, даже со страхом глядела на Лодыжкина, который, сохраняя невероятную серьезность, тараторил:

— Великие русские революционные демократы глубоко и проникновенно проанализировали творчество Тургенева и дали нам ряд замечательных статей, отмеченных показом самой сердцевины его многогранного таланта...

Зато на уроках танца он был истинным богом. Даже наша метресса — закатывшаяся звезда Мариинки — удивлялась ему, его врожденному чувству ритма, умению подчинить музыке все мускулы тела, чистоте и щегольской отделке каждого па.

Идя в падекатре в паре с закатившейся звездой, Феликс преображался, становился стройным, изящным. Добавлю, что при всем том он был начисто лишен музыкального слуха, безбожно врал, напевая своего Вертинского: «Я не знаю, зачем и кому это нужно...» Или верно то, что в нас существуют центры памяти, раздельно руководящие ритмом и мелодией? По крайней мере при составлении самостоятельного хора Феликса забраковали тотчас.

Готовился школьный вечер, который для «спецов» был событием особым. Все, что должно было произойти на нем — и торжественная часть с вручением грамот отличникам спорта, и концерт самодеятельности, и, конечно, танцы,— подчинялось одному: демонстрации взрослости.

Мы с Феликсом возвращались с уроков обычно вместе, так как жили рядом — он в Волковом переулке, я на Тишинке.

— Так не хочется никого приглашать из старья,— немного рисуясь, говорил он.— Давненько не случилось ничего романтического...

А я был в отчаянии. Чем мог похвастаться я? Разве что воспользоваться благосклонностью Зины и позвать ее? При моем идущем от невинности максимализме она, признавая во мне не больше чувств, чем наша учительница танцев. Но было совершенно необходимо доказать, что я достоин перейти из низкого сословия «хазар» в благородную корпорацию «спецов».

Зина согласилась пойти со мной на торжество, как только я позвонил ей, и спросила:

— А народ у вас интересный?

В ответ я рассказал о светском льве Феликсе Лодыжкине, нашем соседе.

— Что, если его разыграть? — оживилась Зина.— Вызвать на свидание. А ты пойдешь и проверишь...

Затея увлекла меня, и, признаться, из побуждений довольно низменных. Мне было приятно околпачить Феликса именно там, где он знал больше меня. Я дал Зине телефон Лодыжкина и перезвонил ей через пять минут.

— Побежал, как миленький! — торжествовала Зина.— Назначила встречу на Георгиевском сквере. Назвалась червонной дамой, которую он покорил по гроб жизни. В общем, сказала, что его будет ожидать в сквере знойная женщина...

При входе в сквер меня обогнал запыхавшийся Феликс. Он был павлин павлином: гимнастерка увешана всевозможными побрякушками, среди которых выделялся огромный латунный бомбардировщик на цепочке. Из блестящей латуни, в нарушение формы, была изготовлена и окантовка погон.

— Куда так чешешь? — крикнул я.

— Потом расскажу! — сбивая дыхание, бросил он.— Необыкновенное приключение!..

Я дал ему помучиться полчаса, а потом подошел, присел рядом с ним на скамейке и невзначай обмолвился:

— Кстати, тебе привет от червонной дамы, она же знойная женщина...

Феликс надулся и сузил без того маленькие глазки, а потом сказал:

— Если бы это сделал кто-нибудь другой — схлопотал бы он у меня по тычке!..

Меня он, правда, выделял с первых же дней учебы в спецшколе, и скоро завязалось у нас, при всем нашем несходстве, что-то вроде дружбы. Я не бывал ни разу в его компаниях, но заходил к нему в гости в Волков переулок, мы обменивались книгами, спорили о Стефане Цвейге и Фейхтвангере, которыми тогда увлекались, и читали друг другу свои стихи: он — ницшеански дерзкие, я — байронически мрачные:

Москва молчит, объята сном,
Дома темнеют ровным строем,
Томимый горькою тоскою,
Стою перед распахнутым окном.
О, как я в жизни одинок!
Отвергнут многими и многое отвергнув,
Я превращусь в уroda, верно,
И не спасет меня ни гений, ни порок.
Когда б я мог
В мечты свои безумные поверить
И идеалом жизнь измерить!
Напрасно. Тот же я. Я одинок...

И моя мировая скорбь, и горделивое его ницшеанство, и наши стихи — все это было неизбежной данью юношескому романтизму и шло от чистоты душевной и душевной невинности. Ибо и Феликс, с его романами, Вертинским и «Шерри-бренди», был чист и девствен душой, как и я. И все наши скорби развеялись очень скоро, легко и бесследно, вместе с первыми испытаниями жизни.

А вечер удался на славу. Ведущий торжественной части отслужил свою обедню, комсорг прочел отрывок из романа «Как закалялась сталь», а старшина роты спел «Сормовскую лирическую»: «И скажет: «Немало я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь...»

В просторном фойе пробовали инструменты, готовились к самой ответственной части вечера музыканты — наши же ученики. У стен скапливались парочки. Феликс в своем парадном наряде, сверкая латунью, стоял в обособленной группе — вместе с другими «асами», крашеной брюнеткой и бледным молодым человеком в хорошем гражданском костюме. Присутствие штатского было уже вопиющим

нарушением спецовой традиции, но, видно, львам, только не морским, а светским, позволялось все.

Я подошел к Феликсу, держа под руку Зину, в лице которой теперь можно было прочесть лишь смутное воспоминание об ангелоподобной девочке в матроске и белых гольфах. Теперь это была долговязая, разбитная особа, казавшаяся старше своих семнадцати лет благодаря взрослой прическе и платью с накладными плечиками.

— Та самая червонная дама... — пояснил я.

Как прекрасно, что под солнцем есть место всем вкусам! Феликс просиял:

— Ради вас я готов каждый день бегать на Георгиевский сквер!

Он познакомил нас со своими приятелями. Штатский назвал свою фамилию, которая потом на шумела в знаменитом фельетоне «Плесь».

Когда заиграла музыка, я через силу оттанцевал с Зиной первый вальс и сделал вид, что мне ужасно интересно говорить с друзьями Феликса. Ни моя дама, ни танцы, в которых я особенно не блистал, меня не увлекали. Лодыжкин немедленно подхватил Зину и начал с ней настоящий танцевальный марафон. Его девушка, оценив обстановку, обратилась ко мне:

— У вас тут есть фоно?

— Рояль? Да, в библиотеке, — обрадовался я, так как немножко играл.

Я привел их в зал, куда лишь отдаленно, толчками долетали стоны оркестра. Брюнетка спросила:

— А вы играете?

— Так, для себя, — небрежно сказал я и перечислил свой репертуар, которым очень гордился: — Первую часть «Лунной сонаты», кое-что из шумановского «Карнавала», один прелюд Шопена...

Брюнетка сложила малиновые губки в капризный треугольник:

— А фокстроты?

Я смешался, потому что лишь начал разбирать с маминой помощью один фокстрот, и то давний, времен ее юности: «Бабочки под дождем».

— Только один? — пожал плечами будущая «плесь», сын академика.

Он сел за рояль и ловко начал «лабать» синкопы, а один из «спецов» привычно, как берется гимнаст за коня, взял брюнетку за талию и пошел с ней тем лисьим шагом, который и дал название танцу. Обо мне позабыли. Я кое-как дождался конца вечера и, лишь только появился Феликс, увел Зину.

Когда мы подошли к дому, она сказала:

— Зайдем ко мне?

Удрученный своим провалом, я кивнул головой. Мы сидели в ее

комнате, увешанной открытками с изображением киноактеров. Я разглядывал многочисленные Зинины рисунки: неверным, частым женским штришком был начертан во всех видах Демон. Он очень смахивал на бесполоую куклу с глазами на пол-лица: то с такой же кукольной Тамарой на руках, то парящий, как стрекоза, над карандашно-острыми пиками, изображающими Кавказ, то повергнутый в ущелье, среди лилипутских замков...

Внезапно в комнате погас свет. Еще ничего не понимая, я почувствовал на своей шее потные руки. В панике, в страхе, я отбросил Зину и выбежал вон, успев крикнуть:

— Как тебе не стыдно!

А Лодыжкин встречался с ней потом — недолгое время. Как-то я очень смутил Феликса, столкнувшись с ним вечером нос к носу у Зининого подъезда...

— Чего же ты от меня хочешь? — спросил я Зину.

— Извини, Гриша тут разбросал свою пижаму... — еще по инерции солгала она, оборвала себя и резко переменяла тон: — Как его вернуть? Как?..

Я только вздохнул.

— Поговори с ним... Он тебя уважал... Убеди... Не может же быть, чтобы он ушел от меня просто так...

Просто так?

Все случилось за короткую летнюю неделю и как раз тогда, когда в отпуск из южного городка, где базировалась его часть, приехал Лодыжкин.

Феликс стал, как и стремился, летчиком-истребителем, хотя в качестве золотого медалиста имел право на поступление в Академию Жуковского. Я — стыдно сказать — срезался на сочинении, получил по любимому предмету четверку и остался с серебряной медалью. Он пошел в летное училище, я на восточном отделении университета зубрил «зебане фарси» — персидский язык. Время от времени от Феликса приходили весточки с нарочито грубоватыми подковырками:

«Здра-жла, господин аспирант! Подпоручик Лодыжкин, щелкнув каблуками, просит извинить, что потревожил ваше полукандидатское существование! Начинаю поздравлять с наступающим и смиренно желаю всяческих благ: пробраться в кандидаты, переползти в докторский ранг, вскарабкаться в академики, жениться на уродливой дуре (для лучшего ощущения полноты жизни), взять бразды правления Парнасом в свои длани и воссиять на литературном небосклоне.

Препамбула моя закончена, теперь дела житейские.

Штаб-квартира моя опять переместилась, за это время дали мне очередной чин: старшего летчика и 3-й класс. Живу на частной квартире и пропадаю все свободное время в бильярдной...»

Он страстно любил свою профессию, гордую и опасную, но за бравадой и иронией скрывалась, прорываясь то и дело, тоска по Москве, по театрам, музеям, редким книгам, собеседнику.

«Помнишь, у Дудинцева: «мысль необходимо скрещивать, иначе она вырождается». Идея, конечно, не его, но подано хлестко. Поверь, я достаточно хорошо знаю, как необходимо скрещивать мысль. Но с кем? Итог: радуюсь, когда в магазинах появляется хорошее вино, выписываю 16 журналов (в основном дойч) и иногда предпринимаю очередную безуспешную попытку найти столяра, дабы он, стервец, соорудил стеллажи...»

«Ну-с, авиационная моя «кальера» пребывает, как всегда, в положении неустойчивого равновесия.

Купил я тебе здесь «Мелкого беса» Сологуба. Книжку эту тиснуло Кемеровское издательство, может, в Москве ее не было. Кстати, выясни, вышел ли 3-й том Монтеня? Когда станешь кандидатом? Черкни».

Как говорится в графоманских романах, «шли годы...». И когда Феликс объявился в Москве, я нашел его переменившимся, и очень: под гедеэровским, модного покроя пиджаком угадывался крепкий, словно спелая дыня, животик. На мой вопрос Лодыжкин коротко ответил:

— От сидячего образа жизни. Как у бухгалтера...

Растолстел, и кто? Феликс, которого в кабине новейшего для тех времен истребителя со сверхзвуковой скоростью уносило то к южным, то к западным нашим границам. По намекам и недомолвкам я понял, что Феликсу приходилось бывать в лихих переделках, выслеживать воздушных шпионов, не раз ставить жизнь на ребро...

Пока мы шли, он обильно потел и у каждого киоска пил газированную воду. Двигался тяжело, с одышкой.

— Как же ты танцуешь? — спросил я не к месту.

— Какие теперь танцы! — отмахнулся Феликс и даже посмотрел на меня с сожалением.

Воспоминания о танцах перенесли меня в мир спецшколы, я увидел наш вечер, Зину...

— Помнишь ее? Она, похоже, вышла замуж...

— Так надо поздравить! Сегодня суббота, супруги должны быть дома, — и Феликс щелкнул по циферблату заморских часов с диковинным тогда миниатюрным календариком.

Щадя мою зарплату младшего научного сотрудника, он сам заплатил за пару «гранат» по два восемьдесят семь, за бутылку мускатного шампанского и килограмм марокканских апельсинов. И через полчаса все это было выставлено на кухонном столике у Зины.

— Как? Принимается программа? — обратился Феликс к хозяевам.

— Абзац! — одобрительно отозвался Гриша.

Он прошел к буфету и вытащил бутылку коньяку.

— Не много ли? — охваченный легкой паникой, спросил я.

— Комплект, — улыбнулся Феликс.

— Да ты, парень, молоток!.. — начал Гриша, а я закончил:

— В общем, железо, сталь и другие сплавы...

— Не надо было тебе посылать его к матери... После такого надёра! — сказал я Зине, ожидавшей моего ответа.

— Кто знал! Кто знал! — прошептала она.

Даже Феликс усомнился, когда в разгар нашей гульбы Зина объявила, что завтра утром Грише придется отвезти на мотоцикле передачу в больницу. Мать ее болела все чаще, лежала в кардиологических отделениях все дольше, а в квартире никак не выветривался стойкий, ввевшийся запах валерьяны.

— Кстати, передашь ей несколько детективов. Не будет же она читать в больнице классику...

— Еще бы! — отозвался я, уже в веселом настроении. — Классику читаю в метро. Льва Толстого читаю только в метро!

— А я и твоим детективам, и вашей классике предпочту «Двенадцать стульев»! — добродушно признался Гриша. — У лейтенанта Шмидта было три сына: двое умных, а третий дурак. Придется мне завтра ехать!

Чувство несчастья может со временем только обостриться в душе, сильнее тревожить ее и беречь, а вот ощущение счастья быстро притупляется, душа словно заветривается. Человек привыкает и уже не замечает, что ему хорошо. Чтобы оценить счастье, надо сперва его утратить. Зина обращалась теперь с Гришей как с своей собственностью — уверенно и даже несколько свысока, помыкала им:

— Передай маме, что я взяла часть отпуска и слетаю на недельку в Грузию...

Да, последние годы, перед Гришей, у Зины появились друзья с Кавказа, которые останавливались у нее, привозили хорошее вино, кинду, чурчхелу. В летнюю московскую жарынь Зину можно было видеть идущей по двору в сопровождении маленького горделивого брюнета в черном строгом костюме, нейлоновой сорочке, парчовом галстуке и огромной белой кепке, называемой в просторечье «аэродром»...

На другой день, когда я лежал пластом, проклиная вчерашнее легкомыслие, ворвалась Зина и еще с порога крикнула:

— Гриша! Разбился!

— Насмерть? — подскочил я с тахты.

— Живой. Так и не доехал до мамы. Растяпа! Налетел на «Волгу», прямо у института Вишневского...

Я почувствовал в ее голосе раздражение.

Навестили же Гришу мы с Лодыжкиным лишь через два дня. Забинтованный, с синячищем под глазом, он лежал на тахте и мрачно острил. Феликс обыграл его в шахматы, а я, в утешение Грише, проиграл.

— А Зина где? На репетиции? — спросил Лодыжкин.

— В Грузии. Скоро вернется, — буркнул Гриша. — Оставила меня на этого евнуха!

И он поддел ногой забравшегося на тахту жирного кота.

Лодыжкин я проводил в часть. Несколько раз набирал Зинин номер, желая справиться о Гришином здоровье, но телефон молчал. О новостях нашего двора обычно сообщала любознательная сестра, сказавшая за завтраком:

— Ты знаешь, Зина серьезно захворала...

— Что за невезуха! — удивился я. — Мать в больнице, Гриша разбился, а теперь и Зина туда же?

— Да нет! Все из-за Гриши...

Она вернулась с Кавказа, долго звонила в дверь, а потом, шепотом ругаясь, стала искать в сумочке ключи. Когда же вошла, то закричала громко, истерически: «Холодильника нет!» — и упала. Нашла ее Римма, соседка-полковница, вызвала неотложку. После укола Зина пришла в себя. Она обвела всех взглядом, потом нахмурилась, набрала воздуха, словно собираясь чихнуть, и с криком: «Холодильника нет!» — снова потеряла сознание. Позднее уже могла сказать больше: «Я вошла, гляжу — нет холодильника... И все сразу поняла...»

Беспокоились и за ее жизнь и за ее рассудок. Но постепенно Зина совладала с собой, снова стала ходить на репетиции и спектакли и тщательно скрывала от посторонних, что Гриша ее покинул...

— Да... Что ж теперь себя ругать! Поздно... — сказал я Зине. — Конечно, я поеду.

— Он был такой внимательный, предупредительный, — всхлипнула Зина и отвернулась, открыв мне худую шею с выпирающим позвонком.

Мы с Гришей чокнулись, и он с чмоком, не жуя, заглотал желтый соленый огурец. Молчание стало неловким, он спросил:

— Как Феликс Иванович?

— Пишет редко... Жалуются, давление подскочило. Возможно, ляжет в госпиталь на переаттестацию... Стареем, брат!

— Старость — это не болезнь, а большое свинство, — лучась здоровьем, изрек Гриша и налил по второй.

Чувствовалось, что он избегает даже упоминать Зину, а я не знал, с какого боку подступиться.

— А ты все никак не выберешься из этого гробика, — посочувствовал я, оглядывая узкую темную комнатенку с окошком во двор.

— На беду мою, в этой халупе родилась какая-то музыкальная знаменитость середины прошлого века. Так что на снос рассчитывать не приходится. Вот женюсь, отхвачу себе отдельную квартиру со всеми удобствами... — скороговоркой ответил он и осекся.

Несколько секунд мы глядели, выпучив глаза, словно увидели друг друга впервые.

— Какого же черта ты бросил тогда невесту с прекрасной квартирой! — решил я наконец.

Гриша со свистом пустил воздух через ноздри.

— Ты так и не догадался? Зина была мне всегда неприятна как женщина. Да что там неприятна — противна!..

Я даже к спинке стула откинулся.

— Ну и чудеса! Как же ты мог быть с ней вместе? Зачем?

Он улыбнулся снисходительно:

— Она же интересный человек... Прекрасная собеседница... Столько читает, столько знает...

Чужая душа — потемки. Чего-чего, а такого поворота я не ожидал!

— Мы с ней обсуждали прочитанное, так хорошо говорили за жизнь. Ах, да что там! Мне ее очень жалко!

— Постой, — осторожно сказал я, — но Зина рассказывала мне, как ты был с ней ласков...

Гриша выпил, не закусывая.

— Старался, насиловал себя. Невозможно быть самим собой всегда. Как это сказал поэт? «Бывает сам собой лишь только бык, идущий на убой...»

К Зине я не пошел, тем более что жил теперь не в одном с ней доме, на Тишинке, а далеко на краю Москвы, в новой, кооперативной квартире.

Со всех сторон к огромной остекленной мышеловке, на которую с фасада налеплена тяжелая металлическая плюшка, изображающая греческую маску с кричащим ртом, подъезжают отечественные, реже — иностранные автомобили. По толпе любителей киноискусства шорохом пробегает: «Евгений Леонов! Елизавета Соловей! Никита Михалков! О-о-о!.. Владимир Высоцкий!..» Отделенные от поклонников невидимой стеной популярности, слегка даже от нее изнемогая и лишь косясь взглядом, они идут, стараясь придать лицу выражение с оттенком демократичности, народности. Идут жены и подруги знаменитостей, демонстрируя всем своим гардеробом — курточками из обезьяны, крокодиловыми сумочками, парфюмерией от Элен Рубинштейн — наглядные преимущества детанта.

Зина тоже в толпе. Но пришла она не глазеть на идолов кино, а брать процент и под них и под зрелище, которое ожидает счастливых, проходящих сквозь строй свирепых, строго выдрессиро-

ванных крашенных старух на контроле и скрывающихся в таинственных недрах мышеловки.

Двигаясь в толпе зигзагами, ходом шахматного коня, Зина как бы про себя бормочет:

— Есть два билета на «Нового Робинзона»... Один на «Невинного»... Абонементы в кинотеатр «Октябрь» и в «Ударник»...

Вправе ли я судить Зину? Понимаю ли я ее? Быть может (хоть и знаю ее в течение всей своей жизни), немногим более, чем первого встречного... Не суди да не судим будешь. А то изобразил все так, что сам остался в стороне и вроде бы — лучше всех. На самом же деле то дрянное, что проявлялось в Зине явно, с беззащитной открытостью, во мне жило потаенно, скрываясь и театральничая.

А наши споры с Лодыжкиным в спецшколе?

Он, при всей своей бытовой распушенности, смутившей бы любого моралиста, был, наверно, чище и лучше меня. Я подсмеивался — и над чем? — над святым его желанием стать летчиком, говорил, что куда надежнее и вернее идти в науку, уже зараженный книжным цинизмом. Правда, цинизм мой был отвлеченным, никому до времени вреда не приносящим, но все равно это был цинизм.

«Салют, старина! Тайнство свершилось; недра бюрократической машины, проскрипев два месяца, извергли приказ: я — гражданский. 38 лет + безнадежно испорченная шлемофоном шевелюра + безнадежно испорченный брюзжанием характер + пенсион...»

Все шло по предсказанному — и у Феликса и у меня. Я пробрался в кандидаты, теперь переползаю в доктора, хотя об академике мечтать не приходится (слишком высоко). Вообще же почти вся программа, которую предначертал мне Лодыжкин, понемногу сбывается, вместе с приходом спокойствия, довольством жизнью, благополучием внешним и внутренним.

И лишь временами, внезапными, резкими толчками, отдающимися сперва в висках, а затем в затылке тупой болью, меня тревожит вопрос, от которого некуда деваться: где моя Васильевская улица? Где четыре фонарика на столбах? Где пятилетняя ангелоподобная девочка с двумя русыми косичками?

Где?..

ЗАПЯТАЯ

Николай Константинович встретил ее и узнал тотчас, хоть и виделись они в последний раз добрых пятнадцать лет назад. И где встретил? На Новом Арбате...

Там спозаранку и до конца ночи шумит, сменяя в себе разные, донные и верхние, холодные и теплые течения, человеческий поток. Есть время шоферов, подгоняющих тяжелые грузовики, и время рабочих, перетаскивающих ящики, контейнеры и тюки в гигантские складские чрева, тающиеся под проспектом; есть время торопящихся к труду уборщиц, продавщиц, парикмахерш, время приезжих, командировочных, экскурсантов; время служащих, возвращающихся домой из многочисленных канцелярий, которые лепятся в стеклянных многоэтажных зданиях; время ресторанных посетителей; время влюбленных наконец, время ночных и совершенно особливых людей, с которыми лучше не сталкиваться. И только одни иностранцы не имеют своего времени и шастают всегда — группами и в одиночку: молодые в нарочито драных, а затем латаных джинсовых костюмах и платьях, пожилые — в натуральных мехах, золотых браслетах, перстнях и кольцах.

Там автомобилю так же сложно приткнуться к обочине, как в каком-нибудь провинциальном американском городишке, чьи обитатели давно уже задыхаются от техники, техники, техники — забензинивающей, заникотинивающей, замарихуанивающей их бедную душу.

Там образуются многочисленные водовороты и завихрения: библиоманов у двухэтажного Дома книги, собирателей дисков у магазина «Мелодия», пиволобов у бара «Жигули».

Там во всю мощь электрических плит и официантских ног работают экспресс-буфеты, шашлычные, кафе; там две тысячи гурманов одновременно садятся за столики ресторана «Арбат».

Там...

Там по теории вероятности в слитной человеческой массе сложнее всего выделить какое-нибудь знакомое лицо.

Но теория вероятности, очевидно, и существует прежде всего для того, чтобы жизнь ее все время опровергала. На Новом Арбате Николай Константинович встретил Запятаю.

Он живет одиноко, близорук и играет на театре, никогда не видя лиц зрителей. Большого актера из него не вышло: Николай Константинович это прекрасно понимает, знает, что в лучшем случае получит под старость заслуженного РСФСР и что на его смерть «Вечерка» откликнется маленьким квадратиком: «Дирекция театра с глубоким прискорбием извещает, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался...»

Николай Константинович убежден, что болезнь будет тяжелой и продолжительной.

Он не любит свою среду, заученные шутки на вечеринках и песенки под гитару хорошо поставленными голосами, так неотразимо

действующие на провинциальных девиц. Ему противны неизбежные романы, которые тянутся годами и превращаются во второй, параллельный брак. Он не участвует в интригах из-за распределения ролей и в борьбе, которая раскалывает любой театр, — доживающего последние дни старого главрежа с его молодым конкурентом. Но его до озноба волнует сцена, запах кулис; некрасивый в жизни, он, сняв очки и преображенный гримом, преобразается внутренне: вдруг ощущает в себе того скрытого, потаенного, которым он и был. И вместе с первыми фразами роли — «Вы слышите, Серафима Владимировна? Я понял, у них внизу подземелье... В сущности, как странно все это! Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово!» — сам живет уже сказочным, нездешним сном...

Но надо просыпаться и идти к себе домой. Даже нет, не домой, а в свою квартиру, так как дом предполагает очаг, якорь, семью. Он не спешит. На раздевалке возле служебного входа сиротливо висит старенькая дубленка Николая Константиновича монгольской фирмы «Дархан». Он решительно надевает ее, прощается с усатой сторожкой, перебегают пешеходным тоннелем грохочущий, сверкающий огнями Новый Арбат и паутинными переулками бежит — к метро, к метро.

Он и одинок, и страдает от избытка общества, как это часто бывает с подлинно одинокими людьми. Не то чтобы квартирка его превращается временами в забегаловку, нет. Но в те дни, когда Николай Константинович начинает тосковать, незнамо как и незнамо откуда являются один за другим разномастные дружки, длится бестолковое застолье, многочасовое и все более мучительное, пока он, как некий объевшийся человеческим планктоном кит, не уходит от них в сторону и не выбрасывается на берег. Тоску сменяет непонятное ему самому леденящее чувство, не страх одиночества, а острое ощущение собственной малости.

На одной площадке с Николаем Константиновичем живет писатель. Он мал, сух, декоративен, стрижен благородным седым ежом, преувеличенно интеллигентен, говорит с утрированным старомосковским произношением, хоть и родился очень далеко от Москвы, где-то в восточной Польше. Его «шыги», «аатменно», «гварят», «гаалубчик» вызывают у Николая Константиновича мгновенный прилив мизантропии. И вместе с тем сосед притягивает — притягивает к себе загадочность писательской натуры.

Сколько помнит себя Николай Константинович, сосед уже был писателем. Как в юности, в незапамятные времена, выпустил двухтомный «Дневник писателя», так и затвердил в общем мнении, что он — писатель.

«О чем он мог писать? — мучился Николай Константинович. — Какие бури потрясли его? Благополучно женился, народил детей, был аккуратен, не выпивал, курил трубку и рисовал — для себя —

японской тушью тоже очень аккуратные рисунки. Ну, в юности еще могли быть увлечения, душа страдала, а теперь? Что он знает? О чем может поведать миру? О собачках и кошечках? Или о детях, которые на самом деле были уже внуками?»

Собака, понятно, писателю полагалась (как и трубка). Не громадная — сенбернар требует забот не менее, чем ребенок. Но и не крошечная, наподобие тех такс на проволочных ножках, каких обожают старые девы и бездетные дамы в годах. У соседа был рыжий курчавый эрдельтерьер, похожий на его старшего сына и трижды на день выгуливающий своего хозяина.

Когда Николай Константинович был маленьким Колей и читал нравившиеся ему книжки, то жалел и даже сердился на то, что их авторы давно умерли, и думал: «Господи! Как несправедливо! Отобрать бы по году у каждого из нас, да и дать им пожить еще хоть двести лет... Что бы они написали — нам и о нас!» И даже существование соседа-писателя не могло поколебать этого желания, ибо Николай Константинович, как и все люди, мало изменился с тех детских пор и продолжал оставаться ребенком...

К дому он приближается с одной мыслью: миновать знакомых с их неизбежными разговорами. Но эрдельтерьер узнает его и приветствует злобным тьяканьем.

— Гаалубчик, Николай Константинович! — покровительственно окликает его сосед. — Какой спектакль изволили играть?

«Вляпался! Наступил! Теперь не отдерешь от подошвы», — наливается желчью Николай Константинович, но кротко отзывается:

— «Бег»... Был в «Беге» Сергеем Павловичем Голубковым — сыном профессора-идеалиста из Петербурга...

— Это что же, Шкваркина пьеса?

Николай Константинович задыхается, чувствуя, что желчь вот-вот брызнет у него из-под век и из ноздрей:

— Не совсем... Булгакова.

— Ах, да... Аатменная пьеса... Я сам написал несколько пьес... Для тюза... для кукольного театра...

Николаем Константиновичем на миг овладевает такое волнение, что у него запотевают очки. Сосед снова обволакивается для него облачным шлейфом загадки.

— А трудно писать?

— Что, гаалубчик?

— Ну, вообще — писать?... Вот у меня сегодня возникла тема... Из жизни... Роман не роман... Нет, скорее повесть... Или даже рассказ...

— Па-аслушайте, гаалубчик, — журчит сосед. — И не пытайтесь! Литература — храм для посвященных... И тут, гаалубчик, нужна культура, культура и еще раз культура!

Николай Константинович, тихо бранясь, поворачивается и бежит к себе в подъезд.

Нечто лягушачье-тритонье было в ее скуластом, почти треугольном личике — от крупного рта с очень полной верхней губкой и больших серых (недоброжелатель сказал бы — водянистых) глаз. Это впечатление только усиливалось и от ее улыбки, открывавшей бледные десны и маленькие зубки, которых казалось гораздо больше, чем положенных человеку тридцать два, и от крохотности носика, и от недлинности, почти без талии, фигуры. И все это придавало Запятой неповторимую привлекательность, волновало и возбуждало Николая.

Как мило она тянула по телефону:

— Я вас слу-ушаю...

И он, набрав ее номер, зная, что подойдет только она (мать была на работе), говорил в трубку ее тоном:

— Я вас слу-ушаю...

Она навещала его вечерами, но не поздно (чтобы не ругалась мама). Смотрела с улицы, есть ли в окошке свет, и поднималась к нему. Лифт шел только до восьмого этажа, и последнюю лестницу она проходила, ритмично и быстро стуча кулачком в его стену, так что слабый, но явный звук прочерчивал трассирующую диагональ.

Он уже стоял у двери, слушал с колотящимся от желания сердцем близкие шаги и с первым же поворотом старомодного механического звонка распахивал дверь и, позабыв затвориться, прижимал Запятую к себе, бестолково тыкался губами в ее щеки, в глаза, в нос...

В жизни Николая она должна была появиться, не могла не появиться.

Как важно, если у тебя есть сестра, которая моложе, чем ты, на целых шесть лет и у которой бессчетно подруг, однокашниц, ровесниц! Кажется, еще только вчера бегала, тряся жиденькими светлыми косицами, сопливая Верка, хулиганка и лентяйка. Она росла незаметно и незаметно сделалась налитой соком десятиклассницей с прекрасной кожей, женственной фигурой, румяными щеками, живыми черными глазками, и уже провожали ее до подъезда, стесняясь себя, длинноногие угловатые подростки из соседней мужской школы.

А после выпускного вечера июньской ночью она заявила домой с толпой подруг. Мама была в отъезде, отец, либерал в душе, с показным ворчанием ушел с раскладушкой на кухню. На столе появилась — одна на восьмерых — бутылка портвейна, и веселье продолжалось с новой силой.

Заводилой была Люба Белкина, дочь генерал-полковника, самоуверенная, сыпавшая словами. Она заявила, что подает документы в геологоразведочный институт, и на самый трудный факультет, вызвав восторженные реплики подруг:

— Ай да наша Любка! Ай да Белка!

И Любка мгновенно отзывалась:

— Да, я такая! Я могу!

Николай робко возразил:

— Ваше ли это дело — геология? Еще попадете в переплет — в тайге, в пустыне... Это для мужчин...

Нагнув лобастенькую голову, Люба возразила:

— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!

Она любила цитаты, говорила цитатами, даже думала цитатами, и не обязательно литературными. У нее были цитаты из самой себя, она постоянно себя цитировала. На каждый случай жизни существовала готовая фраза из небольшого набора, так что во второй и третий раз можно было уже предугадать, что она скажет и как ответит.

Когда портвейн был выпит, тосты произнесены, желания загаданы, Николай пригласил всех смотреть утреннюю Москву — с их крыши.

Крыша эта занимала в жизни Николая свое и не такое уж маловажное место.

Она была односкатной, обозначавшей девять этажей, которые выходили на улицу, и восемь — во двор. Ничем не огороженная, крыша, некруто поднимаясь, таила затем внезапный обрыв. Николай однажды едва успел ухватить за пиджак университетского приятеля и модника Диму Печенкина, который уже готов был ступить в пропасть, полагая, что за коньком следует другая половина ската.

Жарким летним днем на крышу отправился отец, захватив с собой бидон с водой и первую попавшуюся книжку. Он по беспечности и недостатку средств дач не снимал, часами загорая на старом одеяле.

В отроческие годы Николай боялся высоты и, поднявшись по железной лесенке к люку крыши, выбравшись на ее ржавую поверхность, тут же бессильно садился. Дрожало под коленками, кружилась голова. Но постепенно он осмелел, стал подходить к самому краю и даже залезал на башенку, высившуюся посредине ската.

Башенка была этажа на два, непонятного назначения. Во время войны на ней стояла зенитная установка из счетверенных пулеметов. Туда вела полусгнившая деревянная лестница, но Николай предпочитал подниматься по ржавым металлическим скобам. Ни стекол, ни двери в башенке не было, и ветерок свободно гулял, шевеля обрывками старых газет на щелястом полу.

Город сразу приседал, принимал форму вогнутой окружности, открывал свои окраины. Николай плыл в воздушном море, разглядывая далекие берега — кирпичную трубу хлебозавода, мерцающий в темной зелени крест Ваганьковской церкви, четкий силуэт теплоцентрали. Он набирал воздуха в легкие и декламировал любимых в ту пору поэтов — Маяковского и Гейне. На филфаке они оба были всеобщими кумирами, хотя Маяковский пересиливал Гейне: трое старшекурсников даже брили головы «под Маяковского»...

Девицы, боязливо хихикая, остались у люка, только Люба полезла с Николаем на башенку.

Ранняя московская летняя заря уже позволяла видеть далеко окрест: позади расстилались латаным грязно-красным полем крыши маленьких деревянных домиков многочисленных Тишинских и Грузинских переулков; правее кучно зеленели деревья зоопарка; прямо перед башенкой гигантским гвоздем торчал новый небоскреб на площади Восстания; слева подымался зеленоватый коробок книгохранилища Ленинской библиотеки. И совсем близко, странно волнуя, стояли на золотых спицах, медленно поворачиваясь под ветром, рубиновые звезды Кремля.

Оглядев знакомый до мелочей и бесконечный новыми открытиями вид Николай в юношеском восторге воскликнул:

— Жизнь прекрасна!

— И удивительна! — тотчас откликнулась Люба школьной цитатой из Маяковского.

После этого они — совершенно неожиданно для себя! — потянулись друг к другу губами, неловко поцеловались и оба покраснели, не зная, как вести себя дальше...

Но, очевидно, событие это не осталось незамеченным, потому что и отец и особенно мама, оглядывая Николая, словно увидев его впервые, стали бормотать примерно такое:

— Прекрасная девушка!.. Семья чудная!.. Отец — знаменитый человек!.. А какая квартира, какая дача!..

— Перестаньте! — негодовал Николай. — Как вам не стыдно! Точно маленькие!

И все же, получив приглашение на день рождения Любы, не удержался, пошел.

Несколько робея, постоял перед одетым до третьего этажа в грубый гранит генеральским домом на Садово-Кудринской, поднялся на площадку, где было только две двери, поправил очки, нерешительно позвонил и тотчас оказался среди шумных молодых людей и девиц. Огромная квартира в этот вечер была отдана на растерзание новорожденной и ее друзьям. Анфиладой богатых комнат гости прошли к столу, ослепляющему белизной накрахмаленной скатерти, тяжелым мерцанием хрусталя, тусклым блеском серебра и непомерным, никогда не виданным Николаем обилием закусок и вин.

Устраиваясь, оглядываясь, Николай вдруг наткнулся на серые глаза бойкой девушки, сидевшей напротив, и уже весь вечер жил только ею, то и дело смотрел на нее, на ее треугольное личико.

— Здоровье нашей Белки!

— За окончание Белкой библиотечного института! Такое же успешное, как и сдача вступительных экзаменов!

— За красоту и ум Белки! — подымались один за другим незнакомые ребята.

А она, нервно поглядывая на Николая, отвечала им:

— Да, я такая! Я могу!

Но и сероглазая девушка чуть не кожей почувствовала, что на нее обратили внимание, что она нравится, и после первой же рюмки коньяку (показавшегося Николаю совершенно отвратительным напитком) сама обратилась к нему:

— Чтобы не опьянеть, надо сделать так...

И, густо намазав маслом хлеб, положила сверху горку красной икры и передала ему бутерброд.

Тем не менее захмелел Николай с непривычки быстро и, испугавшись незнакомого состояния, сказал себе, что уйдет домой, как только будет разрешено вставать из-за стола. Но с удвоенным вниманием следил за девушкой напротив. А когда объявили перед чаем танцы и гости задвигали стульями, начали выходить в другую комнату, Николай увидел, как невысока, как трогательно мала вся она — ладная, с крошечным носиком, и уже полупьяными губами умиленно выборматывал: «Запятая!.. Запятая!..»

Как это расхожая литература и дурацкие стертые слова могут передать состояние влюбленности — бездумной, юношеской, невинной!

Николай шел с Запятой широкой аллеей ВДНХ, стараясь будто бы ненароком прикоснуться к ней, к ее легкому платьицу, плотно облегавшему девичье тело, и в то же время не переставал любоваться своими новыми, сверкающими шоколадным лаком чешскими туфлями.

— Опять шнурок развязался, — блаженно улыбался он и опускался на колено.

— Шелковые... Вот и скользят...

— А ты их послуни... — так же улыбаясь, отвечала Запятая. То, что они говорили друг другу, было пусто для третьего и исполнено для них самих величайшего смысла.

— Ты работать пошла или учишься? — спрашивал Николай.

— Поступила в педучилище... Очень детей люблю... — улыбалась Запятая и сбоку косящими серыми глазами, не мигая, глядела на него.

Они прошли мимо золоченых, помпезных павильонов, мимо веселого зеленого стадиона, где по кругу водили тяжелых мохноногих першеронов, миновали белую узбекскую чайхану в облаке шашлычной гари, пруд, усеянный разноцветными лодками, и оказались в пустынном, почти девственном лесу бывшего останкинского имения Шереметевых.

— Я слышала, что у Веры ученый брат, — тихо рассказывала Запятая. — О чем-то умном пишет, декламирует стихи, получил премию на конкурсе чтецов... Думала, очень гордый... А ты простиша...

такая лапушка...— Она быстро погладила его по щеке, коснувшись очков.

Николай ощутил, что Запятая знает что-то такое, чего не знает он, взял ее маленькую крепкую ручку в свою и повел к скамейке, над которой шелестел, закрывая небо, древний годами, верно, выдавший еще господ Шереметевых дуб.

Нечто таинственное и прекрасное — Николай чувствовал это — оживало его.

Перед поездкой на выставку они с Запятой зашли к нему, выпили по рюмке сладкого «Карданахи» и закусили шоколадными конфетами, щедро насыпанными мамой в синюю хрустальную вазу — семейную реликвию, пережившую все многочисленные переезды родителей.

Отец с матерью уехали к родным, на Смоленщину. Верка, поступившая вместе с Любой на клубный факультет библиотечного института, отправились до начала учебного года на уборочные работы в подмосковный колхоз, и Николай блаженствовал полным господином...

Усадив Запятую на скамейку, он показал ей две узкие полоски грубой голубой бумаги:

— Пойдем вечером в кино? Французский фильм... «Плата за страх»... Все хвалят...

— В каком кинотеатре?

— Да напротив моего дома, в «Смене».

— А кончится не очень поздно?

— Часов в одиннадцать... Пришлось взять на последний сеанс. Больше билетов не было, — солгал Николай.

— Хорошо, — рассудительно сказала Запятая. — Только тогда после кино — никаких приглашений. Сразу проводишь меня домой.

— Конечно, провожу, — разочарованно заторопился Николай, сокрушаясь: легко разрушила Запятая его маленькую хитрость.

На самом деле фильм этот он уже смотрел и, скучая в тесном и душном зале, только механически следил за тем, как популярный шансонье, легкие эстрадные песенки которого звучали с пластинок почти в каждой московской квартире, нагнетая драматизм, везет горной дорогой взрывчатку на грузовике.

— Сейчас начнется самое страшное... Мне рассказывали... — прошептала в темноте Запятая, взяла Николая за руку и больше не выпускала до конца фильма.

От этой горячей маленькой ручки, от близости всей ее он почувствовал озноб. Сдерживая крупную дрожь, Николай напрягся так, что противно запрыгало колено. Сидеть было все более мучительно, физически нестерпимо. А Запятая, не догадываясь, какие страдания причиняет ему, стала слегка щекотать пальчиками его ладонь.

«Ах, так! — с мстительной решительностью думал Николай, будто хотел сделать хуже не ей, а себе. — Вот клянусь! Провожу домой, попрощаюсь и больше не позвоню!.. Никогда!..»

Шансонье вел и вел свой грузовик больше двух часов («Моя жена очень любит деньги», — признался он в одном из интервью). Фильм закончился далеко за полночь. Николай, колотя по полу онемевшей от мурашек стопой, заковылял к выходу первым. На Большой Грузинской он решительно, почти грубо взял Запятую под руку и зашагал прочь от собственного дома, даже не спросив, где она живет. Но у слабо освещенной старенькой булочной, за стеклом которой мальчик из размалеванного папье-маше протягивал прохожим гигантскую конфету «Ну-ка, отними!», Запятая остановилась.

— Ключ, — роясь в сумочке, растерянно проговорила она. — Ключ... Я, кажется, забыла его у тебя...

Поднявшись к нему, они долго и безуспешно искали — в прихожей, в кухоньке, на неприбранном столе.

— Придется допивать «Карданахи», — не скрывая радости, сказал Николай.

Позабыв все свои недавние клятвы, он налил в рюмки вина и потянулся к Запятой — она строго остановила его:

— Покажи, где я буду спать... И чтобы больше без приставаний...

Николай еще пытался что-то объяснить, уговаривал ее, неумело расстегивал кофточку...

— Если ты сейчас же не прекратишь эти гадости, я просто уйду! — Запятая вскочила, в ее серых глазах стояли слезы.

— Ну, хорошо... Я больше к тебе не притронусь!..

Измучившись вконец от бесплодных попыток, Николай кинул на тахту пикейное одеяло, схватил в охапку ватное, со злобой сдернул, не расшнуровывая, шоколадные чешские туфли и плюхнулся на родительскую кровать.

Запятая тотчас погасила свет. Раздраженный, раздосадованный ее неуступчивостью и собственной неопытностью, он тем не менее быстро и крепко заснул.

Сколько времени прошло, Николай не помнил и не сразу сообразил, кто дергает его за край одеяла. Слабо светало. Рядом с кроватью стояла Запятая — босиком, в коротенькой комбинашке.

— Я замерзла, согрей меня... — бормотала она.

Возвращаясь из ванной, еще не оправившись от потрясения, Николай застыл в дверях: Запятая, в одеяле, накинутом вместо халата, доставала небольшой английский ключик, спрятанный под конфетами в вазе...

Он очнулся. Старенькие ходики показывали четверть десятого: надо было мчаться на Киевский вокзал. Провожать университетского

приятеля Диму Печенкина, который уезжал на месячную практику — и куда! — в заманчивую, почти недоступную Братиславу.

Запятая лежала на животе, укрывшись с головой ватным одеялом. Сбоку, из щелочки торчал только ее маленький и живой, слегка подрагивающий от дыхания носик.

Николай осторожно и нежно провел рукой по одеялу. Будить Запятую он не решался, страхась, что она тотчас уйдет, исчезнет, а может быть, и рассердится на него за все, что так неожиданно произошло. Он тихо оделся, запер снаружи дверь и с легкостью от неспанья, от переполняющей его радости побежал к «Белорусской-кольцевой».

Дима Печенкин был его близким приятелем и в то же время чужим, даже враждебным по духу человеком. И если бы раньше кто-нибудь сказал Николаю, что Печенкин станет его другом, он, верно, только бы рассмеялся в ответ: «Да что у нас общего?»

Печенкин умел жить и жил вкусно, с причмокиванием. Он выезжал обедать в рестораны «Крыша» или «Аврора», покупал в холле гостиницы «Москва» ароматные армянские сигареты «Маасис», через знакомую продавщицу в магазине Столешникова переуллка следил за поступлением редких вин — «Мозельского», «Рейнского», «Молока богородицы», вечерами посещал коктейль-холл на улице Горького или пил кофе в «Национале», где на первом этаже у него был свой столик, а по воскресеньям ездил играть по маленькой на ипподром...

— Друг мой! И тебе надо приобщаться к светской жизни, — поучал он Николая.

«Эх, барчук! Не понимаешь, что моя скромная по достатку семья не может мне дать и десятой доли того, что дают тебе твои родители...» — думал Николай и отделялся шуткой.

Печенкин жил в прекрасной отдельной комнате, которую вместе с полным содержанием оплачивал отец, служивший во Львове. Отец купил ему и красивый рижский гарнитур — тахту, шкаф, столик-бюро. Придя к Печенкину первый раз, Николай почувствовал, что от него не хочется уходить. Уют и довольство: маленький «Филипс» излучал тихую музыку; на столике расставлены позолоченные лафитнички (тоже подарок родителей); пахло крепким кофе, к которому полагался «Бенедиктин» или «Черри-бренди».

Николая поражало бескорыстие друга. Но недолго. До первой сессии, которую Печенкин с грохотом завалил. А так как у него тянулись хвосты еще с прошлого года, модник был условно исключен. Замотанный своими зачетами и подготовкой к конкурсу чтецов, Николай столкнулся с Печенкиным у входа в аудиторный корпус на Моховой.

— Откуда и куда? — крикнул он на бегу.

Печенкин схватил его за пуговицу и уже не отпускал:

— Из деканата... Мать прикатила... Объясняет, уговаривает начальство... А те твердят одно и то же: «Разрешение на передачу

дано. Пока не ликвидирует хвосты, не может быть разговоров о восстановлении...» А как я их ликвидирую, если на все мне дают десять дней! Одна курсовая по словацкому языку недели две отнимет... А тут еще висит прошлогодняя — по истории журналистики!

Печенкин готовился стать журналистом-международником и изучал западнославянские языки.

— Ну история журналистики — дело понятное, — неосторожно откликнулся Николай. — Можно взять пушкинский «Современник» и такую курсовую откатать! А вот словацкий язык для меня темный лес. Впору к Зализняку обращаться...

Зализняк был признанным чудом лингвистики, уже на втором курсе филфака восхищавшим профессоров необыкновенными способностями к языкам.

Печенкин почмокал и уже бодрее сказал:

— Значит, так: сегодня вечером ты у меня в гостях — поговорим о прошлогодней курсовой.

Два дня безвылазно сидел Николай в уютной комнате Печенкина. Два дня, обложившись трудами Благого, Бонди, Бродского, Цявловского, Щеголева, он копил факты, цитировал, сопоставлял, выстригал все, что касалось Пушкина-редактора и его журнала. Два дня Печенкин заботливо ухаживал за ним — поил, кормил и даже забавлял, рассказывая в коротких антрактах сочные истории из своей жизни.

Трудясь над курсовой до боли в спине, Николай обратил внимание на одну особенность в лице друга: очень толстая верхняя губа вместе с большой нижней составляли единую присоску. Он уже тогда начал постигать, что между лицом и характером существует непростая, но жесткая связь. Иногда ему даже казалось, что лицо если не определяет, то предопределяет характер. Перед ним был клейкий резиновый патиссон, цепко присасывающийся — не отдерешь. Печенкин блестяще подтвердил это, выдоив самого Зализняка. Он увез его к знакомым на дачу, спрятав на трое суток ботинки полиглота, и тому не оставалось ничего другого, как написать этюд о западнославянских языках.

За «Пушкина-редактора» Печенкин получил «хор», а вот курсовая по словацкому языку новизной и оригинальностью концепции покорила преподавателей и была признана лучшей. Его не только восстановили на факультете, но, принимая во внимание безупречность анкеты, поощрили поездкой на практику в Братиславу.

Однако и в недолгом марафоне к станции метро «Белорусская», и в путешествии на подземке, и в перебежке к Киевскому вокзалу Николай ни разу не позавидовал приятелю, думая только об одном: у него в квартире спит Запятая! Он ворвался на перрон счастливый, с глупой улыбкой.

Печенкин, пахнувший армянскими сигаретами и дорогим крепким одеколоном, обнял его и растроганно сказал:

— До встречи через месяц... Это будет напоминать тебе обо мне...

С наклеенной на картон фотографии на Николая глядел модник собственной персоной: велюровая шляпа, верблюжье пальто и томный полуоборот лица. Николай перевернул снимок и прочел: «Я твой вечный и благодарный должник...».

Пряча фотографию в карман, Николай наткнулся на ключ и снова заулыбался — глупо, во весь рот.

— Что с тобой? — подозрительно спросил Печенкин. — Ты излучаешь такую радость, словно в Братиславу едешь вместо меня!

— Что твоя Братислава! — отозвался Николай. — Если бы ты знал, какое чудо заперто у меня вот на этот ключ!

Главреж обновлял репертуар. Актерам была роздана машинопись пьесы «Урановый стержень».

— О чем? — спросил Николай Константинович.

— Очень актуально по тематике, — ответил главреж. — О моральном климате на атомной электростанции. Представляете? Какой простор для сценического воплощения! Какая глубина психологического подтекста! Рутинер-директор отстал безнадежно от жизни и...

— ...и на атомную станцию прибывает молодой инженер, который производит переворот, — вздохнул Николай Константинович.

— Хотя бы так! Ну и что? Автор специально выезжал за темой на Урал и насытил пьесу богатой технической фактурой. Вы скажете, язык газетный? Но в конце концов не можем же мы оставаться в стороне от энтээр!

— А публика ходить будет? — кротко осведомился Николай Константинович.

— Если вы вложите душу в роль инженера, публика разнесет кассу, — не веря ни единому своему слову, сказал, как отрезал, главреж и спортивным шагом направился к себе в кабинет.

В дурном настроении Николай Константинович поехал домой.

Когда ему было плохо, он думал о женитьбе. Но, тоскуя по жене, по мягкой женской руке, Николай Константинович отрезвлял себя мыслью о том, что рядом с ним каждодневно и ежечасно будет неизвестное, чужое существо. Приглашая к себе в гости, он уже через час-два начинал томиться, гадал, как бы поскорее проводить свою знакомую, и никогда не оставлял у себя ночевать. Конечно, хотелось уюта, заботы, ласки, но без любви Николай Константинович жениться не мыслил, а на сделку с собой пойти не мог.

Решив наскоро приготовить холостяцкий обед, он не обнаружил в холодильнике ни пельменей, ни сосисок, ни тушенки. Пришлось чистить магазинную картошку.

Когда Николай Константинович собирался отобедать у себя на кухне, в дверь позвонили.

— Га-алубчик! — обратился к нему сосед-писатель. — Поздравьте меня. Предвидится а-атменный гонорар!.. И я задумал предпринять в квартире полный ремонт. Превратить ее в уютное гнездышко. Уже обещан самоклеющийся ситчик для кухни, черный кафель в ванную и унитаз «Лотос»... Не найдете ли мне старых газеток?..

Набрав толстую пачку, Николай Константинович почувствовал, что не удержит копившееся еще в театре раздражение.

— А брюки уже отремонтировали? — спросил он с театральной улыбкой, открыв свои тридцать два не знавших бормашины зуба.

— Вам впору не романы писать, га-алубчик, а сатиру. По вас «Крокодил» плачет... — благодушно отозвался сосед.

— Наверное, крокодиловыми слезами, — еще обаятельнее улыбнулся Николай Константинович.

— Ах! — горестно воскликнул писатель, принимая газеты. — Кто это из классиков сказал, что актеры отстали в своем развитии от общества на сто лет...

— Как не отстать! Ведь нам приходится играть все то, что пишете вы! — успел проговорить Николай Константинович прежде, чем за соседом захлопнулась дверь.

Он вернулся к своему остывшему обеду, к картошке, но аппетита не было. Новыми глазами увидел вылинявший, в белых разводах пластик на полу, копоть, лохмотьями свисающую с вентиляционной решетки, бастион грязных тарелок в мойке, жирное пятно на занавеси.

Или вправду капитулировать? Завести простую подругу, жену-экономку? Разве дождешься встречи с той, у которой может нравиться все — даже недостатки!

Хотя бы как у Запятой...

Она была врушка, фантазерка.

— Скоро мы будем переезжать с дачи. Хорошо, что у нас есть легковая машина... — похвасталась Запятая.

— Машина? Какая?

— «Победа»... Только мне родители не дают водить.

Николай промолчал, почувствовав даже легкую неприязнь к Запятой: у него не было и велосипеда. Легковых автомобилей было мало — довоенные «эмки» и «зисы», новые — «победы», «москвичи», «зимы». Они принадлежали директорам заводов, генералам, видным ученым и артистам, детей которых, своих сверстников, Николай недолюбливал. Но, как вскоре выяснилось, жила Запятая очень скромно, без отца, с матерью и братом, и никакого автомобиля у них, конечно, не было.

— Мою фотографию поместили на выставке в Доме журналистов, — сказала она в другой раз. — Портрет делал известный мастер — Бальтерманц...

Снимал ее брат, на их садовом участке. Запятая, испуганно глядя в объектив, держала в руке сантиметр, которым они измеряли расстояние до фотоаппарата. Николай выпросил у нее этот снимок, который потом затерялся в переездах.

От подруг сестры он узнал, что Запятая рассказывает им: «Коля читает мне стихи... Маяковского, Блока, Бунина... Так красиво! Как настоящий артист». Стихи? Какая глупость! Им и на разговоры не хватало времени.

Они могли часами лежать молча, тихо касаясь друг друга, боясь спугнуть что-то, чего не скажешь словами. Или, наоборот, с шумом и криками бегали по квартире, опрокидывая вещи, отнимая один у другого какую-нибудь ерунду. Или слушали старенький радиоприемник, глядя, словно в затухающий костерок, в мерцающий зеленый глаз индикатора. Запятая любила лежать на животе, смешно, по-лягушачьи надувая его. Ее отзывчивость, способность чувствовать Николая возрастали день ото дня, она нравилась ему все больше. И он добился того, чтобы встречаться с ней каждый день.

К Запятой, однако, рассудительность вернулась раньше, чем к Николаю. Очень скоро он начал подмечать, что она ждет от него чего-то, подолгу молча смотрит в глаза, а там и скажет, как бы между прочим:

— Дурачок! А что же дальше? Вот вернется Вера... Приедут твои родители...

Николай понимал, куда клонит Запятая. Она-то, бедная, хотела прочности, постоянства. Но ему женитьба представлялась чем-то равносильным крушению всех надежд, добровольной каторге, близкому концу жизни.

Тут первый раз пришло раздражение — он вдруг заметил, как неверно, фальшиво напевает Запятая знакомую мелодию, застывая постель. А потом все чаще и чаще стал ловить себя на том, что ему неприятно и то, как резко пахнут ее дешевые духи, и то, с каким невинным бесстыдством она жалуется на жесткость воды в душе, отчего появилась гусяная кожа: «Потрогай вот тут и вот тут...» Возможно, это было следствием простого человеческого свойства: приобретя что-то, скоро перестаешь его ценить.

Перед самым возвращением Верки, в их последнюю встречу, Запятая, прижавшись к Николаю, громко прошептала:

— Я, кажется, беременна...

Утром, спустившись взять газеты, Николай Константинович был атакован эрдельтерьером, за которым появился и сам хозяин — молодой, сухой, с благородным седым ежиком.

Накануне Николай Константинович крупно поговорил с главрежем и теперь чувствовал себя легко, свободно, словно выбросил вон все, что его мучило.

— Признаюсь,— сказал он соседу-писателю,— что мои давешние остроты были не совсем уместны...

— Ах, что вы, га-алубчик, я ничего не помню,— прожурчал тот, придерживая кудлатого пса.— Я не хотел вам говорить. Я сейчас нахожусь на творческом подъеме... Ваш театр ставит мою новую пьесу, и вы играете в ней главную роль.

— «Урановый стержень»? — тупо удивился Николай Константинович.

— Ну, ка-анечно...— уstraиваясь с эрдельтерьером в кабине лифта,— ответил сосед.— Я думал сделать вам сюрприз.

— Нет, друг мой,— без всякого желания обидеть соседа твердо сказал Николай Константинович.— Я как раз вчера отказался от этой роли.

— Да почему же? — изумился сосед-писатель, приглашая его в лифт.

Николай Константинович покачал головой и плотно притворил дверцу.

— Меня не устраивает моральный климат на вашей атомной станции! — крикнул он в загудевшую кабину.

В панике, охватившей его, Николай не сразу сообразил, что спасение должно явиться из Братиславы в образе Димы Печенкина.

Он без конца звонил ему и был несказанно обрадован, когда услышал хриловатый фальцет друга. После первых фраз о прекрасной Братиславе, о практике Николай не попросил, а взмолился помочь ему.

— Нет ничего проще,— тотчас отозвался Печенкин.— Приходи с ней ко мне завтра вечером. Кстати, угощу вас отличной сливовой...

И вновь Николай сидел в уютной комнате, которую украсила теперь люстра из чешского стекла, сделанная в форме букета каллов, и забавный ночничок у тахты: деревянный полуметровый гном с клинообразной бородкой держит в руках красный фонарик. Он слушал «Филиппс», потихоньку тянул из золоченого лафитничка едкий сливовый самогон, меж тем как Печенкин в роскошном кремовом пуловере деловито объяснял притихшей Запятой, что ей следует сделать.

— Я достану вам рецепт... Позвоните мне через два дня, и все будет в порядке...

Печенкин поднялся, подошел к бюро и извлек два больших, в ярких конвертах диска:

— А это, друже, тебе... Оркестр Карела Влаха исполняет «Серенаду Солнечной долины»... Ты, помнится, любишь Гленна Миллера.

Два дня выдались у Николая на редкость суетными: решалась его судьба. Став лауреатом городского конкурса самодеятельных чтецов, он был приглашен в Студию МХАТа и подал заявление об уходе из университета.

— Ну что ж! — сказал Николаю прекрасным от обилия обертонов баритоном руководитель драмкружка, старый неудачник-трагик, помнивший Вахтангова и друживший с Хмелевым. — Ларионова, затем Саввина... Теперь вы... Филологический факультет неплохо питает нашу сцену...

Его долго отговаривал декан, потом секретарь факультетского комсомольского бюро — Николай был непреклонен. И вот в его кармане свидетельство об окончании трех курсов русского отделения филфака и заявление о приеме в студию. Только после этого Николай кинулся разыскивать Запятую, но — странное дело — не мог дозвониться ни ей, ни Печенкину. У друга телефон мертво молчал, а вместо Запятой подходил ее брат, сухо спрашивал, что передать, и вешал трубку.

Поздно вечером, возвращаясь от своего руководителя-актера, который давал ему последние напутствия, Николай с легким хмелем в голове сделал крюк и завернул к Печенкину. Он долго звонил в дверь — никто не отзывался. Но знакомое окно в бельэтаже было неясно освещено ночником, ронявшим красноватый смутный свет. Кто-то двигался в глубине комнаты, отгибал угол тяжелой шторы, всматривался в черноту двора.

Николай хотел было окликнуть друга, но звук застрял, остановился в гортани. Он почувствовал, что одно подозрение делает невозможным ни говорить с Печенкиным, ни видеть его. Николай медленно поднял с асфальта обломок кирпича, подбросил на ладони. А вдруг все его обвинения напрасны? Как тогда он будет глядеть Печенкину в глаза? Нет, нет!..

Он выронил кирпич и нехотя, непрестанно оборачиваясь, пошел прочь со двора долгим путем на свою Тишинку.

Наутро, оформив документы в Студии МХАТа, Николай зашел в соседний дом, в свою парикмахерскую. Через стекло он увидел, что Судариков занят клиентом, а взглядевшись, узнал Печенкина — великолепного, в сером мышинном шерстяном костюме и красном галстуке-бабочке. Николай вошел в парикмахерскую и закрыл рукой левый глаз, унимая задержавшееся веко. В кресле, рассматривая прошлогодний «Крокодил», сидела Запятая. Она успела поднять глаза в тот самый момент, когда он повернулся и не вышел, а выбежал на улицу.

Дня через три, когда Николай сидел один в квартире, он услышал очень тихий, но явный стук, так взволновавший его, что уши мгновенно шевельнулись. Кулачок прочертил трассирующую линию

вдоль стены, потом раздался журчащий звонок: раз, другой, третий... Николай, весь вытянувшись в струнку, стоял у двери. Запятая потопталась, не решаясь больше звонить, и тихо-тихо пошла вниз...

Николай Константинович встретил ее и узнал тотчас, хоть и не виделись они лет пятнадцать.

Она была миниатюрна, все еще хорошенькая, с крупными глазами, маленьким подвижным носиком и большим ртом. Рядом шли два пацана и крепкий подполковник-муж. «Да, вот, может, она-то и дала бы мне то счастье, которого я не имел...» — подумал Николай Константинович.

Они незаметно кивнули друг другу и разошлись в бесконечном людском океане.

БЕССОННОЕ ОКНО

Ночами, когда от непрерывных ворочаний постель подо мною стонет и сбиваются в комок простыни, когда голова не может найти покойного места, когда кровь стучит в висках и мучают вины перед людьми, я беспомощно ищу себе союзника, свидетеля моих бесплодных страданий. Но некому пожаловаться и утром, за одиноким кофе, а к кому взовешь в этот безжизненный час?

Теперь все спит; двумя мертвыми утесами слева и справа отсекают соседние дома перспективу из моего окна, и лишь в конце громадного коридора, над черными купами деревьев слабо мерцает безлунное и беззвездное небо. Вот из глубины переулка звучат случайные голоса, тревожно-торопливые, приглушенные. Я приподымаюсь на локте. Быть может, это ко мне? Раньше я страшился заплочных гостей, берег мою ночь — для заработка, для дневных удовольствий, для будущего счастья. А теперь жадно жду — не позвонит ли в дверь заглушающий приятель или девушка, меня позабывшая и рекою жизни вынесенная к моему порогу. Но нет, голоса затихают, тают, словно слабый свет во мраке. С сухим мягким шорохом упадет на землю редкий дождь.

Я встаю, выхожу на балкон, подставляю ладони теплым, щекоющим каплям. Смотрю вперед и вверх — завеса дождя бесконечна, и в этой таинственной, безлюдной ночи она, кажется, протянулась вместе с тьмой от моря и до моря, через всю великую русскую равнину. Вот дождь нарастает с грозным однообразным шумом, дробя черные пузыри на асфальте. Я плыву на балконе, над мертвой хлябью — один.

И только оно, таинственное, бессонное окно, как фонарь в далекой лодке, мутным пятном сопровождает меня.

Оно горит всю ночь — все мои бессонные ночи. И я привык к нему, ищу его, а найдя, испытываю радостное облегчение.

Кто этот фонарщик, поднявший с немym приветом свой близкий и далекий светильник? Беспокойный старик, день за днем, год за годом вспоминающий прожитую жизнь? Или больная нервами женщина, страшась потемок, мрака? А может быть, одинокий чужак, которого писательский лунатизм притягивает к листу бумаги только после полуночи? Бог весть! Но я благодарен этому окну, потому что оно вселяет в меня не злобу и раздражение — от ломоты в висках, шума в голове, от неспанья, а острые, рвущие душу чувства, которых я не знаю днем.

В этот час мне жаль себя, свою молодость, бездарно и бездумно растраченные годы — самые плодотворные, утекшие впустую, в полунени, в суете недуманья. Я перебираю не имена женщин, а несостоявшиеся замыслы, неосуществленные планы, невоплотившиеся мечты.

Мне жаль моих родных: и тех, что ушли в Ваганьковский город мертвых, оставив последний документ — серую книжечку с номерами и цифрами, ордер на новый въезд, на уплотнение их и без того тесной квартиры, и тех, кто еще со мной, рядом.

Мне до слез, до содрогания жаль маму, неуклонно ветшающую, упускающую капля за каплей силы и здоровье. Днем, в деятельные часы бодрствования меня раздражают ее долгие телефонные разговоры, ее милые нелепые заботы обо мне и сказочные страхи за мою судьбу. Но ночами я точу и грызу себя за черствость, бездушие, за неспособность хоть сотью ответить ей на ее любовь. И только тогда мне стыдно себя — себя дневного.

В этот час одиночества и суда над собой мне жаль людей.

Жаль друзей, доверяющих мне, преданных мною и меня предающих. Жаль тех, кого я развращал своей бесхарактерностью, понуждая обманывать и обворовывать, обсчитывать меня. Жаль серьезных иступленных графоманов с писательским билетом и без, сжигающих свои нервы ради выморочных, фальшивых книг. И жаль рабов каторжного труда, вымучивающих свое холодное мастерство. Жаль того, кто по ноздри зарос карьерным хитином, подчинил свою жизнь бедной цели и у кого бьется и не может найти окна в телесном чехле заблудившаяся душа. Жаль ищущего забвенья в каждодневном припадании к бутылке, в монотонном пьянстве, имеющего только — завтра, но никогда — послезавтра. И жаль маньяка постели, поднявшего ее превыше всего — превыше мужской дружбы, кровного родства, отцовства, любви — мозг его ушел через семя и не дал всходов. Жаль мозговика, живущего в столпе чистой истины, но — на диете, воздержании, на попрании и отвержении всего нашего, земляного. Жаль злопыхателя корыстного. И бескорыстного слугу своего аспидового языка, от самомнения, от гордыни жалающего и отравляющего других.

Мне жаль врагов — врагов вялых, налитых венозной кровью, отворачивающихся от меня на улице, жаль за то, что живут они чужим расхожим мнением, подчиняются нашептанному им, вдолбленному в их уши приговору. И жаль врагов резких, злых, свой живот положивших на то, чтобы каждую минуту, каждое мгновение быть готовым на удар, полемику, подлог, охулку в печати или хотя бы на поносный изустный навет. Жаль за преувеличенное внимание ко мне, за превозношение меня — пусть и хулою.

Приклоните ухо ваше во глаголы уст моих! В этот час расчета с собой мне всего более жаль женщин.

Жаль тех, кто готов предать нас — и не по врожденной порочности, не по своей вине, а от безвольного повиновения голосу природы, от которой оторвались мы, умствующие.

Жаль женщин холодных, бесстрастно отдающих мужу свое тело и способных испытать радость и восторг лишь в краткий миг наслаждения, переживаемого нравящимся человеком. И жаль страстных, легко воспламеняющихся, не управляющих собой в те мгновения, когда в лучшую сторону может повернуться их судьба. Жаль робких, зарывших свое чувство, как раб зарыл таланты, — от неверия в себя, в свои силы. И жаль дерзких, способных от недуманья, от зова глубинной женской утробы искалечить собственную и чужую жизнь. Жаль непоправимо заблудших, воспринимающих свое падение как норму. И жаль правильных, засушенных послушанием и догмами между страниц учебника педагогики. Жаль умных, пытающихся восполнить рассудком все, что недодала им щедрая к женщине природа. И жаль тех, у кого глупая голова помещена на очень умном теле. Жаль некрасивых, досаждающих на то, что толстокожие мужчины не способны оценить их прекрасную душу, и живущих жизнью чужой — жизнью хороших подруг. И жаль хороших, к которым с нежных лет, как к сладкому прянику, тянутся жадные руки и для которых каждый день — поединок, испытание, соблазн. Жаль хитрых, мелко корыстных, природных врушек и фантазерок. И жаль простодушных, застенчивых, страдающих от непонимания, рожденных под знаком Рак...

Шумит, шумит моя головушка. В этот ровный гуд врывается резкий свистящий звук, охватывающий правое полушарие, точно включился авиационный двигатель. Давно утих дождь. Бледнеет, теряя свою колдовскую силу, свою власть надо мной, и отступает под ударами утра ночь. Близко, в резком хохоте заходит одинокая ворона. Надсаживаясь до тошноты, до рвоты, она страстно кричит, выкаркивает, стремясь сообщить что-то мне. От Ленинградского проспекта, закрытого домами и зеленью, бормашиной входит в мозг рев раннего грузовика.

Окно гаснет. И постепенно, на положенный срок тускнеет, гаснет и мое сознание.

— Ты потушил свой фонарь! До свидания, до завтрашней встречи!

СОДЕРЖАНИЕ

Маленькая Наташа	3
Особняк с фонариками	10
Запятая	28
Бессонное окно	45

Олег Николаевич Михайлов

МАЛЕНЬКАЯ НАТАША

Редактор М. М. Жигалова.

Технический редактор Е. Н. Щукина.

Сдано в набор 23.04.81. Подписано к печати 02.07.81. А 01192.
Формат $70 \times 108^{1/32}$. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,12.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1520. Зак. № 605. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

«СИЛУЭТ-ЭЛЕКТРО»



Любительский фотоаппарат с электронным затвором, предназначенный для съемки на 35-миллиметровую черно-белую и цветную пленки.

Он прост в обращении и рассчитан на широкий круг фотолюбителей. Встроенный в фотоаппарат электронный блок обеспечивает автоматическую отработку выдержки при установленной диафрагме.

Большой диапазон выдержек дает возможность вести съемку в условиях даже относительно слабой освещенности.

И еще одно ценное качество: в визире аппарата предусмотрена сигнализация о допустимых пределах освещенности.

Цена фотоаппарата «СИЛУЭТ-ЭЛЕКТРО» — 65 руб.



ЦРКО «РАССВЕТ»
ТЕЛЕПРЕССТОЯТЕЛЬСТВО РЕКЛАМЫ